



Л Е О

П Е Р У Ц

*МАСТЕР
СТРАШНОГО СУДА*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А



Л Е О

П Е Р У Ц

МАСТЕР
СТРАШНОГО СУДА

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Annotation

«Мастер Страшного суда» – самый известный роман Лео Перуца.

Это изысканное сочетание увлекательного интеллектуального детектива о расследовании таинственной серии самоубийств «без причины», потрясающих Вену начала XX столетия, и причудливой фантасмагории, полной мистических аллюзий, символов и мельчайших «подсказок», помогающих читателю понять скрытый смысл происходящего...

- [Лео Перуц](#)
 -
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Глава 14](#)
 - [Глава 15](#)
 - [Глава 16](#)
 - [Глава 17](#)
 - [Глава 18](#)
 - [Глава 19](#)
 - [Глава 20](#)
 - [Глава 21](#)
 - [Глава 22](#)
 - [Послесловие издателя](#)

- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
-

Лео Перуц

Мастер Страшного суда

Leo Perutz

DER MEISTER DES JUNGSTEN TAGES

© Paul Zsolnay Verlag, Wien, 1959, 1994

© Издание на русском языке AST Publishers, 2022

Глава 1

(Предисловие вместо послесловия)

Моя работа закончена. Я письменно изложил события осени 1909 года, тот ряд трагических обстоятельств, с которым я оказался связан столь странным образом. Все, что я написал, – правда от первого до последнего слова. Ни о чем я не промолчал, ничего не приукрасил – да и к чему? У меня нет повода что-либо скрывать.

Записывая эти происшествия, я обнаружил, что в памяти моей живо и ясно сохранилось бесконечное число подробностей, отчасти довольно незначительных: беседы, мысли, мелкие инциденты, но что при этом у меня составилось совершенно неправильное представление о времени, в течение которого все это разыгралось. Еще и теперь у меня такое впечатление, будто это длилось несколько недель. Но это ошибка. Я знаю точно, в какой день доктор Горский повез меня играть квартет на виллу Бишоф. Это было в воскресенье 26 сентября 1909 года; вся панорама этого дня еще и теперь стоит у меня перед глазами: с утренней почтой я получил письмо из Норвегии, постарался разобрать почтовый штемпель и подумал при этом о студентке, которая была моей соседкой за столом при плавании по Ставангерскому фиорду. Она ведь обещала мне написать. Я распечатал письмо, но в нем оказался проспект одного отеля у Гардангского глетчера. Разочарование. Позже я отправился в фехтовальный клуб, но тут, на улице Флориани, меня застиг ливень, я вошел в ворота какого-то дома и увидел старый запущенный сад с каменным фонтаном барокко; старая дама заговорила со мною и спросила, не живет ли в этом доме модистка по фамилии Крейцер. Помню все, словно это было вчера. Потом распогодилось, 26 сентября 1909 года осталось у меня в памяти как теплый день с безоблачным небом.

Днем я обедал с двумя товарищами по полку в садовом ресторане. Утренние газеты просмотрел только после обеда. В них были статьи о балканском вопросе и о политике младотурок – пора-зительно, как это все запомнилось мне. Передовая статья обсуждала путешествие английского короля, а другая посвящена была планам турецкого султана. «Выжидательная политика Абдул-Гамида» – было напечатано

жирным шрифтом в заголовке. В хронике сообщались биографические сведения о Шефкет-паше и Ниази-бее – кто ныне помнит еще эти имена? На Северо-Западном вокзале ночью был пожар – уничтожены огнем огромные лесные склады; сообщалось о готовящейся постановке «Дантона» Бюхнера; в опере шла «Гибель богов» с гастролером из Бреславля в роли Гагена; где-то, кажется в Петербурге, происходили забастовки и рабочие беспорядки; в Зальцбурге случилась в церкви кража со взломом, а телеграммы из Рима говорили о шумных сценах в парламенте. Затем я набрел на петитом набранную заметку о крахе банкирского дома Бергштейна. Она меня нисколько не поразила, я предвидел этот крах и своевременно взял оттуда свои капиталы. Но невольно вспомнил об одном знакомом, об актере Ойгене Бишофе, который тоже доверил этому банку свое состояние. «Мне следовало его предупредить, – мелькнуло у меня в голове. – Но разве он поверил бы мне? Он никогда не верил в мою осведомленность. К чему вмешиваться в чужие дела?» И тут же мне припомнилась моя беседа с директором придворных театров, происходившая несколькими днями раньше. Речь зашла об Ойгене Бишофе.

– Он старится, к сожалению, ничего не поделаешь, – сказал директор и прибавил еще несколько слов о том, что надо дать место молодым силам.

Судя по моему впечатлению, у Ойгена Бишофа было мало шансов на возобновление контракта. А тут еще вдобавок эта катастрофа с Бергштейном и К^о.

Все это запомнилось мне. Так отчетливо запечатлелся в моем мозгу день 26 сентября 1909 года. Тем труднее мне понять, как мог я отнести к середине октября тот день, когда мы втроем вошли в дом на Доминиканском бастионе. Быть может, воспоминание об опавших каштановых листьях на песчаных дорожках сада, о зрелом винограде, продававшемся на перекрестках, и о первых осенних заморозках – быть может, вся эта совокупность смутных воспоминаний, как-то связанных для меня с этим днем, ввела меня в такое заблуждение, в действительности же все разрешилось 30 сентября, это я установил на основании заметок, сохранившихся у меня от того времени.

С 26 по 30 сентября, стало быть, не больше пяти дней, длился весь этот трагический кошмар. Пять дней продолжалась

романтическая охота, преследование незримого врага, который был не существом из плоти и крови, а страшным призраком минувших веков. Мы набрели на кровавый след и пошли по этому следу. Молча открылись ворота времени. Никто из нас не предвидел, куда ведет путь, и чувство у меня теперь такое, словно мы с трудом, шаг за шагом, ощупью пробирались по длинному темному коридору, в конце которого нас поджидало чудовище с поднятой дубиной... Дубина опустилась два раза, три раза, ее последний удар пришелся по мне, и я бы погиб, я разделил бы страшную участь Ойгена Бишофа и Сольгруба, если бы в последний миг не был внезапно выхвачен из бездны.

Сколько жертв поглотило оно, это окровавленное чудовище, на пути своем сквозь чашу столетий, сквозь времена и страны? Судьба многих людей представляется мне теперь в ином свете. На оборотной стороне переплета среди имен прежних владельцев книги я открыл одну полустертую подпись. Правильно ли я разобрал ее? Неужели Генрих фон Клейст тоже?.. Нет, бесполезно искать, и гадать, и вызывать призраки великих усопших. Туман скрывает их лики. Безмолвствует прошлое. Никогда не даст ответа мрак. И это не миновало, нет, все еще не миновало, видения поднимаются из глубин и осаждают меня ночью и среди бела дня – теперь, впрочем, хвала небесам, уже только в виде бледных, бесплотных теней. Оно спит во мне, мое страдание, но сон его все еще недостаточно глубок, и подчас меня вдруг охватывает страх и гонит к окну; мне представляется, что там, наверху, чудовищными волнами должен бушевать в небе ужасный огонь, и я не верю себе при виде солнца над моею головой, солнца, окутанного серебряной дымкой, окруженного багряными облаками или одинокого в безграничной небесной синеве, при виде извечных, вечных красок вокруг меня, красок земного мира. Ни разу после того дня не видел я больше страшного пурпура трубного гласа. Но тени все еще тут: возвращаются, обступают меня, тянутся ко мне... Исчезнут ли они когда-нибудь из моей жизни?

Быть может, это грешные души? Быть может, изложив на бумаге то, что меня угнетало, я отделался от гнета навсегда? Повесть моя лежит передо мною в виде кипы разрозненных листов; я поставил крест на ней. Какое мне отныне дело до нее? Я отодвигаю ее в сторону,

словно ее кто-то другой пережил и сочинил, кто-то другой написал, не я.

Но еще другое соображение побудило меня записать все то, что я хотел забыть, но забыть не могу.

Сольгруб за несколько мгновений до своей смерти уничтожил один исписанный лист пергамента. Он это сделал, чтобы отныне никто не мог подпасть под то же странное обольщение. Но можно ли быть уверенным, что этот пергамент был единственным в своем роде экземпляром? Разве нельзя допустить, что в каком-нибудь забытом уголке мира лежит второе сообщение флорентийского органиста – выцветшее, запыленное, истлевшее, объеденное крысами, похороненное под хламом старьевщика или притаившееся за фолиантами старой библиотеки или между коврами и Коранами на чердаке лавки где-нибудь в Эрцинджане, Диарбекире или Джайпуре – что оно там лежит настороже, готовое к воскресению и жаждущее новых жертв?

Все мы – неудавшиеся произведения Великого Творца. Мы носим в себе страшного врага и этого не подозреваем. Он не шевелится в нас, он спит, лежит как мертвый. Горе тому, в ком он оживает. Да не узрит отныне ни один смертный пурпурной краски трубного гласа, которую увидел я! Да, пусть Бог мне будет защитой – я ее видел...

И поэтому рассказал я здесь мою повесть.

Я знаю, у нее, в том виде, в каком она теперь лежит передо мною, эта кипа исписанной бумаги, – у нее, в сущности, нет начала. Как она началась? Я сидел дома, за письменным столом, с пенковой трубкой в зубах и перелистывал книгу. В это время пришел доктор Горский.

Доктор Эдуард фон Горский при жизни был мало известен вне узкого круга специалистов. Только смертью заслужил он себе мировую славу. Он умер в Боснии от заразной болезни, которую избрал предметом своих специальных исследований.

Он, как живой, стоит передо мною, плохо выбритый, очень неряшливо одетый, с косо повязанным галстуком. Указательным и большим пальцами он зажал себе нос.

– Опять ваша проклятая трубка! – расшумелся он. – Неужели вы не можете жить без нее? Какой ужасный дым! Он чувствуется даже на улице.

– Это запах заграничных вокзалов, он мне нравится, – ответил я, вставая, чтобы с ним поздороваться.

– Черт бы его побрал! – проворчал он. – Где ваша скрипка? Вы будете играть у Ойгена Бишофа, мне поручено вас привезти.

Я взглянул на него в изумлении.

– Разве вы не читали сегодня газеты? – спросил я.

– Ах, вы об этом уже знаете тоже? – воскликнул он. – По-видимому, всему свету известно то, о чем только сам Ойген Бишоф не имеет никакого представления. Да, история скверная. Насколько я понимаю, ее хотят скрыть от него. Как раз теперь у него происходят неприятности с дирекцией, и, по крайней мере, покуда они не уладились, надо об этом молчать. Посмотрели бы вы, как ведет себя Дина: точно ангел-хранитель бережет она его. Едем со мною, барон! Ему, по-моему, будет сегодня полезно всякое развлечение и отвлечение.

Мне очень хотелось повидать Дину. Но я был осторожен. Я сделал вид, будто мне нужно еще предварительно подумать.

– Немного помузицируем, – убеждал меня доктор Горский. – Я захватил с собой виолончель, она в фиакре. Сыграем фортепианное трио Брамса, если хотите.

И он стал насвистывать про себя, чтобы меня соблазнить, первые такты H-dur-ного скерцо.

Глава 2

Комната, где мы играли, расположена была в первом этаже виллы, и ее окна выходили в сад. Поднимая глаза от нот, я видел выкрашенную в зеленую краску дверь павильона, где Ойген Бишоф обычно запирался, когда ему присылали новую роль; там он ее разучивал и в иные дни часами оттуда не выходил. До позднего вечера мелькал тогда за освещенными окнами его силуэт и делал странные телодвижения, какие ему предписывала роль.

Песчаные дорожки сада были ярко освещены солнцем. Между грядками фуксий и георгин сидел на корточках глухой старик садовник и срезал траву однообразным, утомлявшим мое зрение движением правой руки. В соседнем саду шумели дети, пуская лодочки по воде и змеев по воздуху, а сидевшая на скамье в лучах предвечернего солнца пожилая дама бросала из сумочки хлебные крошки воробьям. Вдали на лугу медленно двигались по направлению к лесу гуляющие с яркими зонтиками и детскими колясками.

Мы начали музицировать в пятом часу дня, проиграли две скрипичные сонаты Бетховена и трио Шуберта. После чая приступили наконец к трио Н-dur. Я люблю это трио, особенно первую часть, полную торжественного ликования, и поэтому пришел в раздражение, когда в дверь постучали, едва лишь мы начали играть. Ойген Бишоф своим звучным голосом громко произнес: «Войдите!» – и в комнату просунулся молодой человек, лицо которого мне сразу показалось знакомым, я только не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах уже видел его. Он закрыл не без шума дверь, хотя, по-видимому, очень старался нам не помешать. Это был рослый плечистый блондин с почти четырехугольной головой, с первого же взгляда он мне не понравился, отдаленно напоминая кашалота.

Дина вскользь подняла на него глаза от клавиш, кивнула ему, к моему удовольствию, довольно небрежно, головой и продолжала играть, между тем как ее муж бесшумно поднялся с дивана, чтобы поздороваться с запоздавшим гостем. Поверх моего пюпитра я видел, как они оба беседуют, а затем кашалот вопросительно и с заметным удивлением указал на меня движением головы: «Кто это? Откуда он

взялся?»), – и я пришел к заключению, что он, по-видимому, интимный друг дома, если позволяет себе такие вольности.

Когда мы доиграли первую часть трио, Ойген Бишоф познакомил нас:

– Инженер Вольдемар Сольгруб, товарищ моего зятя, – барон фон Пош, любезно заменивший Феликса.

Феликс, младший брат Дины, услышал, что его упомянули, и помахал левой рукой в белой повязке. Он обжег в лаборатории руку и не мог поэтому играть на скрипке, а чтобы не сидеть без дела, перелистывал Дине ноты.

Затем показался доктор Горский из-за своей виолончели, приветливо усмехающийся гном, но инженер только мимоходом пожал ему руку и уже в следующий миг стоял перед Диной Бишоф. И между тем как он склонился над ее рукой – он держал ее в своей руке гораздо дольше, чем это требовалось, и на это было положительно тягостно смотреть, – между тем как он стоял, склонившись над ее рукой, и что-то ей настойчиво говорил, я заметил, что он совсем не так молод, каким показался мне вначале. Его белокурые, коротко остриженные волосы слегка серебрились на висках, и было ему, вероятно, лет под сорок, хотя он держался как двадцатилетний юноша.

Наконец он решился выпустить руку Дины и подошел ко мне.

– Кажется, мы с вами знакомы, господин виртуоз.

– Меня зовут барон фон Пош, – сказал я очень спокойно и очень вежливо.

Кашалот понял намек и извинился, сказав, что не расслышал, как это водится, моей фамилии, когда нас познакомили. У него была странная манера речи – он как-то выталкивал слова изо рта и живо напомнил мне этим своего двойника, выпускающего водяную струю из ноздри.

– Но ведь вы меня помните, надеюсь? – спросил он.

– Нет, очень сожалею.

– Если не ошибаюсь, мы пять недель тому назад...

– Мне кажется, вы ошибаетесь, – сказал я, – пять недель тому назад я путешествовал...

– Совершенно верно, вы путешествовали по Норвегии. И мы на пути из Христиании в Берген четыре часа сидели друг против друга. Вспоминаете?

Он помешивает ложечкой в чашке чаю, которую поставила перед ним Дина. Его последние слова она расслышала и говорит, с любопытством глядя на нас обоих:

– Ах, так вы уже раньше были знакомы?

Кашалот самодовольно и бесшумно смеется и говорит, обратившись к Дине:

– Как же! Но господин барон был во время плавания так же необщителен, как сегодня.

– Весьма возможно, – ответил я. – К сожалению, такова моя привычка, я не особенно люблю дорожные знакомства.

И этим инцидент был для меня исчерпан, но не для кашалота.

Ойген Бишоф заговорил об изумительной памяти на лица, которую только что еще раз доказал инженер. Ойген Бишоф всегда готов наделять своих друзей всевозможными дарованиями и выдающимися качествами.

– Полно, что вы, – говорит инженер, похлебывая чай. – В этом случае никакой особенной памяти я не показал. Правда, лицо у господина барона как у тысячи других людей, – вы меня простите, барон, но положительно удивляться надо, до чего вы похожи на множество других людей, – но зато у вашей английской трубки физиономия, несомненно, характерная. По ней-то я вас сразу и узнал.

Я нахожу, что его шутки довольно плоски и что он несколько не в меру занят моею особою. Решительно не понимаю, чем заслужил я такую честь.

– Ну, Ойген, рассказывай теперь ты, душа моя, – восклицает кашалот громко и бесцеремонно. – У тебя был, читал я, большой успех в Берлине, все газеты ведь только о тебе и говорили. А как у тебя идет дело с королем Ричардом? Подвигается оно?

– Не будем ли мы дальше играть? – предлагаю я.

Кашалот сделал преувеличенно испуганный, извинительный жест.

– Вы еще не кончили? Ах, ради бога, простите. Право же, я думал... Я ведь совсем немзыкален.

– Это отнюдь не ускользнуло от моего внимания, – уверил я его с чрезвычайно любезным выражением лица.

Он делает вид, будто не расслышал этого замечания. Садится, вытягивает ноги, берет несколько фотографий со стола и углубляется в

созерцание карточки, на которой Ойген Бишоф представлен в костюме какого-то шекспировского короля.

Я начинаю настраивать скрипку.

– Мы сделали только небольшую паузу между первой и второй частями – в вашу честь, господин инженер, – говорит доктор Горский, и я слышу, как Дина шепчет мне:

– Отчего вы так неприветливы с Сольгрубом?

Я, вероятно, залился краской в этот миг, я всегда краснею, когда она заговаривает со мною. Повернув голову, я вижу своеобразный овал ее лица, темные глаза, удивленно и вопросительно на меня устремленные. И я ищу ответа, хочу объяснить ей свою антипатию, объяснить, что чувствую предубеждение к людям, которые так некстати врываются в комнату. Конечно, они в этом не виноваты и могут быть в то же время превосходными людьми, я это сознаю. Таково уж их роковое предрасположение – всегда появляться в тот миг, когда они мешают. Я с этим соглашаюсь охотно, но не могу подавить в себе эту антипатию, ничего не поделаешь, таким уж я рожден...

Нет! Кого же я стараюсь провести? Ведь это все неправда. Это ревность, жалкая ревность, страдание преданной любви. При виде Дины я становлюсь цепной собакой, которая стережет ее. Кто к ней приближается, тот становится моим смертельным врагом. Каждый взор ее глаз, каждое слово ее уст я хочу сохранить для себя. То, что я не могу освободиться от нее, не могу встать и навсегда положить этому конец, – это болит, это горит во мне...

Тише! Доктор Горский делает знак. Он дважды ударяет смычком по пюпитру, и мы приступаем ко второй части.

Глава 3

Эта вторая часть Н-dur-ного трио – как часто уже устрашала она меня и потрясала своими ритмами! Никогда не мог я ее доиграть до конца, не чувствуя себя глубоко подавленным, и все же я люблю ее страстно.

Скерцо, да, но какое скерцо! Начинается оно с жуткого веселья, с радости, от которой леденеет кровь. Какой-то призрачный смех проносится по воздуху, дикая и мрачная свистопляска козлоногих фигур. Таково начало этого странного скерцо. И вдруг над адской вакханалией поднимается одинокий человеческий голос, голос заблудшей души, терзаемого страхом сердца, и жалуется на скорбь свою.

Но вот опять сатанинский хохот врывается с громом в чистые звуки и разрывает в клочья песню. Снова поднимается голос, робко и тихо, и находит свою мелодию и высоко возносит ее, словно хочет умчаться с нею в мир иной.

Но духам ада дана вся власть, занялся день, последний день, день Страшного суда. Сатана торжествует над грешной душой, и плачущий человеческий голос срывается с высоты и тонет в Иудином хохоте отчаяния.

Несколько минут сидел я молча среди молчащих людей, когда сыграно было скерцо.

Потом безутешно-мрачный сонм призраков исчез. Рассеялось видение Страшного суда, кошмар покинул меня.

Доктор Горский встал и принялся медленно расхаживать по комнате. Ойген Бишоф сидел безмолвно, уйдя в себя, а инженер потягивался, словно только что проснулся. Потом взял папиросу из стоявшей на столе коробки и довольно шумно захлопнул ее крышку.

Мой взгляд скользнул по Дине Бишоф. Человек часто просыпается утром с мыслью, которая была у него последнею перед тем, как он заснул. Так и я, доиграв вторую часть, опять начал думать о том, что прогневил ее и должен умилостивить. И это желание умилостивить ее становилось во мне все сильнее, все настойчивее, чем

дольше я смотрел на нее. Ни о чем другом я не мог уже думать – вероятно, это детское желание было одним из последствий музыки.

Но вот она обращается ко мне:

– Ну, барон, что вы так задумчивы? О чем мечтаете?

– Я думал о своем щенке Заморе...

Я знаю хорошо, для чего это говорю, я смотрю ей прямо в глаза, мы это знаем оба, Дина и я. Она знала его, ах, как хорошо она его знала... Она вздрагивает, ничего об этом не желает слышать, качает головой и сердито отворачивается. Только теперь она по-настоящему рассердилась на меня. Мне не следовало это говорить, не следовало напоминать ей про Замора, моего маленького щенка, во всяком случае, не в этот миг, когда она, наверное, думает только об этом незнакомце, об этом кашалоте.

Между тем доктор Горский уложил в футляр виолончель и смычок.

– Я думаю, довольно на сегодня, – говорит он, – от третьей части избавим господина инженера, не так ли?

Дина, запрокинув голову, напевает про себя тему адажио.

– Слышите – это звучит как баркарола, правда?

Кашалот, к моему удивлению, тоже начинает напевать тему третьей части, почти безошибочно, только в несколько ускоренном темпе. А затем говорит:

– Баркарола? Нет. Вас, вероятно, обольщает скольльзящий ритм. Мне, во всяком случае, эта тема внушает представление совсем другого рода.

– Вы, вижу я, очень хорошо знаете Н-dur-ное трио, – говорю я, и этим, кажется, я умилил Дину Бишоф. Она тотчас же живо ко мне оборачивается.

– Надо вам знать, друг наш Сольгруб вовсе не так немзыкален, как говорит. Он только считает своим долгом выставить напоказ высокомерное свое отношение к музыке и ко всем остальным бесполезным искусствам. Не правда ли, этого требует ваша профессия, Вольдемар? И он хочет меня убедить, что интересуется моим мужем как актером только потому, что видел его фотографию на открытых письмах и в иллюстрированном журнале. Молчите, Вольдемар, я отлично знаю вас.

Кашалот делает такой вид, словно речь идет не о нем. Взял книгу с полки и перелистывает ее. Но ему, по-видимому, очень приятно быть средоточием беседы и подвергаться анализу Дины.

– А при этом, – вмешивается в разговор брат Дины, – музыка так сильно действует на Сольгруба, как ни на кого из нас. Русская душа, знаете ли. Он сразу видит перед собою целые картины, какой-нибудь ландшафт, и море под облачным небом, и прибой, и закат солнца или же человека и его телодвижения, или – как это было недавно – стадо бегущих казуаров и бог весть что еще.

– Недавно, – рассказывает Дина, – когда я играла последнюю часть appassionat'ы, – не правда ли, Вольдемар, у вас от appassionat'ы возник в голове образ ругающегося солдата?

«Вот у них как дело далеко зашло, – подумал я с горечью и гневом, – она ему играет бетховенские сонаты. Так это началось когда-то и у меня с Диной».

Кашалот отложил книгу в сторону.

– Appassionata, третья часть, – говорит он задумчиво и, откинувшись на спинку кресла, закрывает глаза. – При этих звуках я вижу с отчетливостью, какой теперь не могу передать, – каждую пуговицу на его мундире мог бы я описать в ту минуту, – вижу калеку на деревяшке, старого инвалида наполеоновских войск, который, ругаясь и шумя, ковыляет по комнате.

– Ругаясь и шумя? Бедняга! Вероятно, он потерял свои жалкие сбережения.

Сказал я это без всякого умысла, ничего при этом не думая, только шутки ради. Но уже в следующий миг догадываюсь, какое тягостное впечатление должна произвести такая шутка. И в самом деле, доктор Горский неодобрительно качает головой, Феликс обдает меня гневным взглядом и предостерегающе подносит ко рту руку в белой повязке, а Дина глядит на меня в сильном испуге и удивлении. Наступает неловкая пауза, я чувствую, как краснею от смущения. Но Ойген Бишоф ничего этого не заметил. Он обращается к инженеру.

– Я часто завидовал силе твоего пластического воображения, Сольгруб, – говорит он, и весьма подавленный вид имеет в данный миг этот кумир галерки и герой театральных школ. – Тебе бы следовало стать актером, милый Сольгруб.

– Вы ли это говорите, Бишоф, – восклицает доктор Горский почти запальчиво, – вы, начиненный образами и типами? Ведь у вас в голове они нагромождены друг на друга – короли и мятежники, канцлеры, папы, убийцы, мошенники, архангелы, нищие и сам Господь Бог.

– Но никого из них ни разу не видел я перед собою так живо, как Сольгруб своего калеку-инвалида. Мне являлись только их тени. Только туманные призраки, бесцветные и бесформенные, похожие то на одного, то на другого. Если бы я мог, как Сольгруб, описывать пуговицы на мундире, о боже, каким бы я стал воплотителем типов!

Я понимаю меланхолию, звучащую в его словах. Он состарился, он уже не прежний знаменитый Ойген Бишоф. Ему дают это чувствовать, и он это чувствует сам, он с этим борется и не хочет в этом сознаться себе. Бедняга, какие безнадежно печальные ждут тебя годы, годы заката!

И вдруг мне припоминается моя беседа с директором. Что, если бы ему кто-нибудь передал это замечание... Если бы я сам... «Вы знаете, милый Ойген, что я с вашим директором в приятельских отношениях? Недавно мы с ним болтали на разные темы, и под конец он мне сказал – вам ведь я могу это передать, не отнесетесь же вы к этому трагически, недавно он сказал мне, разумеется, только в шутку...»

О боже, что это за мысли! Упаси его бог узнать об этом. Это был бы конец. Он душевно так слаб, так неуравновешен, от малейшего дуновения ветра может свалиться.

Теперь брат Дины старается его приободрить. Милый мальчик пускает в ход все сценические термины, какие слышал: психологическая детализация, проникновение в дух произведения и так далее. Но Ойген Бишоф качает головой.

– Брось дурака валять, Феликс, – сказал он. – Ты знаешь не хуже меня, чего мне недостает. То, что ты говоришь, довольно верно, но не в этом суть. Поверь мне, всему этому можно научиться или же оно является само вместе с задачей, перед которою тебя ставят. Только творческой фантазии научиться нельзя. Либо она есть, либо ее нет. Этой фантазии, творящей миры из ничего, вот чего мне не хватает, как и многим другим, как большинству. Да, конечно, я знаю, что ты хочешь сказать, Дина: я проложил себе дорогу, я кое на что способен, что бы там обо мне ни писали в газетах. Но подозревает ли кто-нибудь

из вас, какой я в действительности трезвый и сухой человек? Вот, например, произошла одна история, от которой надо бы потерять покой и сон. Мороз бы должен был пробрать меня по коже, мне следовало бы содрогнуться от жути, а на меня, видит бог, это действует не больше, чем когда я за завтраком пробегаю хронику несчастных случаев в газете.

– Вы сегодня читали газету? – спросил я.

При этом я имел в виду рабочие беспорядки в Петербурге: Ойген Бишоф очень интересуется социальным вопросом.

– Нет, не читал. Я не мог сегодня утром найти газету. Дина, куда она запропастилась?

Дина бледнеет, краснеет и опять бледнеет... Боже, как мог я не сообразить, что от него прячут газету, где помещена заметка о крахе его банкирской конторы. Опять уж я натворил бог знает чего. Я совершаю одну бестактность за другую.

Но Дина быстро овладела собою и легким тоном говорит, как о безделице:

– Газета? Кажется, я видела ее где-то в саду. Я разыщу ее. Но ты начал только что говорить о чем-то интересном, Ойген, рассказывай же дальше.

Рядом со мною стоит брат Дины и шепчет мне еле слышно, почти не разжимая губ:

– Вы намерены продолжать свои эксперименты?

Я совершил оплошность в момент рассеянности, больше ничего... Как же это можно объяснить иначе?

Глава 4

Ойген Бишоф расхаживает по комнате, чем-то он занят и как будто старается выразить словами какую-то мысль. Вдруг он останавливается передо мною и смотрит на меня. Глядит мне прямо в лицо испытующе, с беспокойным и неуверенным выражением глаз, почти недоверчиво. От этого взгляда мне становится как-то жутко, сам не знаю почему.

– Странная история, барон, – говорит он. – Возможно, что вас бросит в дрожь и в жар, если я вам расскажу ее. Вы сегодня ночью, пожалуй, не сможете заснуть, вот такая это история. Но вот здесь, – и Ойген Бишоф ударил себя по лбу, – здесь у меня сидит какая-то клеточка, которая не дает себя вывести из состояния покоя. Она реагирует только на мелкие повседневные происшествия, на обыденщину. Но для страха, и жути, и отчаяния, и неистового испуга – для всего этого она непригодна. Для этого у меня нет надлежащего органа.

– Расскажите же нам, наконец, эту историю, Бишоф! – перебил его доктор Горский.

– Не знаю, удастся ли мне объяснить вам, в чем заключается необыкновенная сторона этого происшествия. Рассказчиком я был всегда плохим, вы это знаете. Быть может, вам это все совсем не покажется таким волнующим...

– К чему долгие предисловия, Ойген, начинай же! – говорит инженер, стряхнув пепел с папиросы.

– Ладно, выслушайте меня и думайте потом что хотите. История вот какова. Недавно я познакомился с молодым морским офицером. Он получил долгосрочный отпуск для приведения в порядок своих семейных дел. Эти семейные дела, занимавшие его, были особого свойства. Здесь, в городе, жил его младший брат, художник и ученик академии. Художник этот, человек, по-видимому, очень даровитый – я видел некоторые его работы – «Детскую группу», «Сестру милосердия», «Купающуюся девушку», – этот молодой человек наложил на себя руки. Самоубийство его решительно ничем не было мотивировано. Ни малейшего повода к такому акту отчаяния у него не

могло быть. Не было у этого юноши ни долгов, ни других денежных забот, ни несчастной любви, ни болезни – словом, это было в высшей степени загадочное происшествие. И брат его...

– Такие самоубийства случаются чаще, чем принято думать, – заметил доктор Горский. – Полицейские протоколы довольствуются обычно формулой «в мгновенном беспамятстве».

– Да, так говорилось и в этом случае, но семья этим не удовлетворилась. Родителям прежде всего показалось непостижимым, что сын не оставил прощального письма. Даже обычной в таких случаях фразы: «Дорогие родители, простите меня, но я не мог иначе» – даже такой короткой строчки не удалось найти среди бумаг самоубийцы. Да и в прежних его письмах не было ни слова, которое указывало бы на возникшее или развивавшееся намерение покончить с собою. Семья не поверила поэтому в самоубийство, и старший брат взялся поехать в Вену и выяснить происшедшее.

У офицера этого был определенный план, и он принялся проводить его с чрезвычайной энергией и упорством. Он поселился в квартире брата и усвоил себе его привычки и даже его распорядок дня, искал знакомства со всеми людьми, с которыми водился покойный. Всех остальных случаев знакомиться с людьми он избегал. Сделавшись учеником академии, стал рисовать и писать красками, проводил ежедневно несколько часов в кафе, где брат его был завсегдатаем, он был даже настолько педантичен, что носил одежду брата и записался на курсы итальянского языка для начинающих, которые посещал его брат, причем ходил исправнейшим образом на все уроки, хотя, будучи морским офицером, и без того владел в совершенстве итальянским языком. И все это он делал в уверенности, что таким путем должен непременно прийти в конце концов к выяснению причины загадочного самоубийства, – ничто не могло его сбить с этого пути.

Такую жизнь, которая была, в сущности, жизнью другого, он вел целых два месяца, и я не знаю, приблизился ли он за это время к своей цели. Но однажды он пришел домой очень поздно. Его хозяйка обратила внимание на этот поздний приход, противоречивший его обычному, с точностью до минуты, предустановленному препровождению времени. Настроен он был неплохо, хотя и досадовал на то, что обед простыл. Он сказал, что собирается вечером пойти в

оперу, билеты, должно быть, еще не все распроданы, заметил он, а к одиннадцати часам просил подать ужин в его комнату.

Спустя четверть часа пришла кухарка с черным кофе. Дверь была заперта, но она слышала шаги офицера, расхаживавшего по комнате. Она постучала, сказала: «Кофе, господин лейтенант!» – и поставила чашку на стул перед дверью. Немного погодя она пришла еще раз за посудой. Кофе стоит по-прежнему перед дверью. Она стучит, офицер не отвечает, она прислушивается – в комнате тишина; но вдруг она слышит слова и возгласы на непонятном языке, и сейчас же после этого раздается громкий крик.

Она дергает за дверную ручку, зовет, поднимает шум, прибегает хозяйка, обе взламывают дверь – комната пуста. Но окна открыты настежь, с улицы доносятся крики, и тут им становится ясно, что произошло: внизу теснятся люди вокруг трупов, молодой офицер за полминуты до этого выбросился в окно... На столе еще лежит его тлеющая папироса.

– Выбросился в окно? – прервал рассказчика инженер. – Это поразительно. Ведь у него, как у офицера, наверное, было оружие.

– Совершенно верно. В ящике письменного стола был найден револьвер, вполне исправный, но незаряженный. Офицерский револьвер, девятимиллиметрового калибра. В том же ящике находилась целая коробка патронов к нему.

– Дальше, дальше, – торопил доктор Горский.

– Дальше? Да ведь это все. Он покончил с собою так же, как его брат. Нашел ли он разгадку тайны, не знаю. Но если нашел, то имел, по-видимому, основания унести эту тайну с собою.

– Что за вздор! – воскликнул доктор Горский. – Ведь оставил же он какую-нибудь записку, объяснение своего поступка, какую-нибудь строчку, по крайней мере для родителей.

– Нет.

Не Ойген Бишоф произнес уверенным тоном этот ответ, а инженер Сольгруб. И он продолжал:

– Разве вы не понимаете, что у этого офицера не было времени? Времени не было, вот что поразительнее всего в этом самоубийстве. Он не успел достать свой револьвер и зарядить его. Как же мог он успеть написать прощальное письмо?

– Ты ошибаешься, Сольгруб, – сказал Ойген Бишоф, – офицер оставил письменное сообщение. Оно, впрочем, состояло из одного только слова или, вернее, части слова.

– Вот это называется военным лаконизмом, – заметил доктор Горский и веселым подмигиванием дал понять, что считает вымыслом всю эту историю.

– Потом острие карандаша сломалось, – закончил свой рассказ Ойген Бишоф, – бумага в этом месте прорвана.

– Какое же слово?

– Оно было нацарапано необыкновенно спешно, его почти невозможно было разобрать, и гласило оно: «Ужас...»

Никто из нас не произнес ни слова, только у инженера вырвалось короткое удивленное «ах!».

Дина встала и повернула выключатель. В комнате стало теперь светло, но гнетущее чувство, овладевшее мною, овладевшее всеми нами, не исчезло.

Один только доктор Горский отнесся к делу скептически.

– Признавайтесь, Бишоф, – сказал он, – всю эту историю вы сочинили, чтобы нас запугать.

Ойген Бишоф покачал головой:

– Нет, доктор, ничего я не сочинил. Все это произошло совсем недавно и во всех подробностях именно так, как я вам рассказал. Да, по временам наталкиваешься на необычайные вещи, доктор, можете мне поверить. Как смотришь ты на этот случай, Сольгруб?

– Убийство! – сказал инженер коротко и решительно. – Весьма необыкновенный род убийства, это мне ясно. Но кто убийца? Как проник он в комнату и как исчез? Надо бы всю эту историю тщательно обсудить наедине с самим собою.

Он взглянул на свои часы.

– Поздно уже, мне пора уходить.

– Вздор! Вы все останетесь ужинать, – объявил Ойген Бишоф. – А затем мы еще посидим и немного поболтаем о более веселых вещах.

– А как бы вы отнеслись к тому, чтобы собравшееся здесь общество ценителей прослушало кое-что из вашей новой роли? – спросил доктор Горский.

Ойгену Бишофу предстояло через несколько дней впервые выступить в роли Ричарда III – об этом сообщали все газеты. Но

предложение доктора Горского, казалось, не понравилось ему. Он поджал губы и наморщил лоб.

– Не сегодня, – сказал он. – В другой раз с удовольствием.

Дина и ее брат принялись его упрашивать:

– Отчего не сегодня? Что за капризы? Все уже предвкушают эту радость.

– Хочется же иметь некоторое преимущество перед плебсом партера и лож, когда имеешь честь лично быть знакомым с вами, Бишоф, – признался доктор Горский.

Ойген Бишоф покачал головой и отказался наотрез:

– Нет, сегодня не могу. Вы бы слышали нечто совсем необработанное, а этого я не хочу.

– Устрой своего рода генеральную репетицию перед добрыми друзьями, – предложил инженер.

– Да нет же, не уговаривай меня. Я ведь обычно не заставляю себя долго просить, вы знаете. Я и сам люблю читать. Но сегодня не могу. У меня еще не живет в воображении образ этого Ричарда. Мне надо иметь его перед глазами, надо видеть его, иначе я бессилён.

Доктор Горский сделал вид, будто сдаётся, но снова весело мне подмигнул, потому что владел превосходным и многократно испытанным способом преодолевать сопротивление актера и собирался прибегнуть к этому способу. Приступил он к делу очень хитро и осмотрительно и принялся в непринужденном тоне рассказывать об одном весьма посредственном берлинском актере, которого якобы видел однажды в этой роли. Актера этого он очень стал хвалить.

– Вы знаете, Бишоф, я не особенный энтузиаст, но этот Земблинский положительно феноменален. Какие идеи у этого дьявола! Как он сидит на ступенях дворца, подбрасывает перчатку и ловит ее, и жмурится, и потягивается, как кошка на солнце! А затем как он строит свой монолог!

И чтобы дать об этом представление Ойгену Бишофу, доктор Горский начинает декламировать с большим пафосом и пылкой жестикуляцией:

– «Меня природа лживая согнула и обделила красотой и ростом...»^[1]

Он прервал себя самого замечанием:

– Нет, наоборот, сначала «обойден», потом «укорочен». Но это неважно. «Уродлив, жалок... – как там дальше? – ...выброшен до срока в сей мир дыханья...»

– Довольно, доктор, – перебил его актер, покамест еще очень кротко.

– «В сей мир дыханья, – не мешайте мне, – недоделан даже наполовину, холм и так ужасен, что псы рычат, когда я прохожу...»

– Довольно! – крикнул Ойген Бишоф и зажал уши руками. – Перестаньте! Вы меня изводите.

Доктор Горский продолжал, не смущаясь:

– «И если не могу я, как влюбленный, красноречиво время коротать, то я намерен страшным стать злодеем».

– А я намерен вас задушить, если вы не перестанете! – взревел Ойген Бишоф. – Помилуйте, вы ведь превращаете этого Глостера в сентиментального шута! Ричард III – хищный зверь, изверг, бестия, но все же он мужчина и король, а не истерический паяц, черт меня побери совсем.

Он взволнованно зашагал по комнате, увлеченный ролью. Вдруг он остановился, и все произошло совершенно так, как это предвидел доктор Горский.

– Я покажу вам, как надо играть Ричарда. Замолчите-ка теперь – вы услышите этот монолог.

– Я по-своему понимаю эту фигуру, – сказал с невозмутимой дерзостью доктор Горский. – Но вы актер, а не я, и я охотно познакомлюсь с вашим толкованием.

Ойген Бишоф обдал его лукавым презрительным взглядом. Собираясь превратиться в шекспировского короля, он видел перед собой уже не доктора Горского, а своего несчастного брата Кларенса.

– Внимание! – приказал он. – Я уйду на несколько минут в павильон. Откройте тем временем окна: здесь ведь нельзя дышать от табачного дыма. Я сейчас вернусь.

– Ты хочешь загримироваться? – спросил брат Дины. – К чему это? Читай без грима.

Глаза у Ойгена Бишофа сверкали и горели. Он был в таком возбуждении, какого я никогда еще у него не наблюдал. И сказал он нечто весьма странное:

– Загримироваться? Нет. Я хочу только увидеть пуговицы на мундире. Вы должны меня оставить на некоторое время в одиночестве. Через две минуты я снова буду здесь.

Он вышел, но сейчас же возвратился.

– Послушайте, ваш Земблинский, ваш великий Земблинский, – знаете ли, кто он такой? Болван, и больше ничего. Я его видел как-то в роли Яго – это было непереносимо.

И затем он выбежал из комнаты. Я видел, как он быстро шел по саду, разговаривая с самим собой, жестикулируя; он был уже в Байнардском замке, в мире короля Ричарда. По дороге он чуть было не опрокинул старика садовника, который все еще стоял на коленях и срезал траву, хотя сумерки уже сгустились. Сейчас же после этого фигура Ойгена Бишофа исчезла, и спустя мгновение окна павильона осветились и начали струить трепетные лучи, посылая колеблющиеся тени в большой, безмолвный, одетый мраком сад.

Глава 5

Доктор Горский все еще продолжал с ложным пафосом и смешными жестами декламировать стихи из трагедий Шекспира. Делал он это теперь, когда Ойгена Бишофа с нами не было, только из увлечения, из упрямства и чтобы скоротать время ожидания. Придя в полное исступление, он взялся за короля Лира и, к нашей общей досаде, начал своим несколько хриплым голосом исполнять песни шута, тут же придумывая к ним мелодии. Инженер между тем сидел молчаливо в кресле, выкуривал одну папироску за другой и рассматривал узоры ковра у себя под ногами. Ему не давала покоя история морского офицера, загадочные и трагические обстоятельства этого самоубийства продолжали занимать его мысль. По временам он, встрепенувшись и удивленно покачивая головой, глядел на поющего доктора как на редкое и непостижимое явление и один раз сделал попытку возвратиться в мир действительности.

Он перегнулся вперед и решительно схватил доктора Горского за руку.

– Послушайте, доктор, одна подробность в этом деле мне совершенно непонятна. Помолчите немного, выслушайте меня, пожалуйста. Допустим, что это было самоубийство, которое совершено под влиянием внезапного решения. Ладно. Но почему, позвольте вас спросить, офицер уже за четверть часа до этого заперся в своей комнате? Еще совсем не думает о самоубийстве, а запирает дверь... С какой целью? Объясните мне это, если можете.

– «Шутом своим назначь того, кто дал тебе совет уйти из царства своего; иль сам держи ответ».

Только этими словами да еще сердитым движением руки, каким отмахиваются от мухи, ответил ему доктор Горский.

– Бросьте вы вздор молоть, доктор, – уговаривал его инженер. – За четверть часа до самоубийства он запирает дверь. Казалось бы, времени у него достаточно для приготовлений. А потом он выскакивает в окно. Но так не поступает офицер, у которого лежит револьвер в письменном столе да еще полная коробка патронов к нему.

Доктору Горскому эти соображения и выводы не помешали продолжать пение шекспировских стихов. Он был весь во власти вдохновения. И смешно было смотреть на этого маленького и немного кривого восторженного человечка, стоявшего посреди комнаты и дергавшего струны воображаемой лютни.

– «Кто сладкий шут, кто горький шут, узнаешь ты тогда...»

Инженер убедился наконец, что его невозможно склонить к обсуждению этого вопроса, и обратился ко мне:

– Тут есть ведь, в сущности, противоречие, вы не находите? Напомните мне, будьте добры, о том, чтобы я спросил об этом Ойгена Бишофа перед нашим уходом.

– Куда девалась моя сестра? – спросил Феликс.

– Она хорошо сделала, что ушла, тут чересчур накурено, – заметил инженер и бросил окурок в пепельницу. – *Magna pars fui*^[2], признаюсь. Нам следовало открыть окна, мы об этом забыли.

Никто не заметил, как я вышел. Я тихо прикрыл за собою дверь. В надежде найти Дину в саду я стал ходить по песчаным дорожкам до деревянного забора соседнего сада. Но ни в одном из обычных мест не нашел ее.

На садовом столе под откосом лежала открытая книга, ее листы были влажны от дождя или ночной росы. В нише стены мне померещилась какая-то фигура. «Это Дина», – подумал я, но, подойдя ближе, я увидел садовую утварь, две пустые лейки, корзину, прислоненные к стене грабли и порванный гамак, качавшийся от ветра.

Не знаю, как долго я оставался в саду. Может быть, долго. Возможно, что я стоял, прислонившись к стволу дерева, и грезил.

Вдруг я услышал шум и громкий смех, доносившийся из комнаты. Чья-то рука резво пробежала по клавишам рояля от самой низкой октавы до последних пронзительных дискантов. В раме окна показалась фигура Феликса, как большая темная тень.

– Это ты, Ойген? – крикнул он в сад. – Нет... Это вы, барон? – В голосе его прозвучала вдруг тревога: – Где вы были? Откуда идете?

За его спиной показался доктор Горский, узнал меня тоже и принялся декламировать:

– «Тебя ли в лунном свете вижу я?...»

Он запнулся, кто-то из двух других оттащил его от окна, я еще только услышал его возглас:

– «Прочь, дерзновенный!..»

Потом наступила тишина. Над их головами, во втором этаже виллы, сделалось вдруг светло. Дина появилась на веранде и начала накрывать на стол в мягком свете стоячей лампы.

Я вернулся в дом и поднялся по деревянной лестнице на веранду. Дина слышала мои шаги, повернула голову в мою сторону и поднесла руку к глазам козырьком.

– Это ты, Готфрид? – сказала она.

Я молча сел против нее и смотрел, как она ставит тарелки и стаканы на белую скатерть стола. Я слышал ее глубокое и ровное дыхание, она дышала, как спящий ребенок. Ветер гнул и раскачивал ветви каштановых деревьев и гнал перед собою по аллеям маленькие кавалькады блеклых осенних листьев. Внизу старый садовник все еще работал. Он зажег фонарь, стоявший рядом с ним на грядке, и тусклый свет фонаря смешивался с яркими полосами света, широко и спокойно струившимися из окон павильона.

Вдруг я вздрогнул.

Кто-то позвал меня: «Пош!» Только этот звук раздался, но в голосе послышалось нечто, испугавшее меня: гнев, отвращение, упрек и тревога.

Дина приостановила свою работу и прислушалась. Потом взглянула на меня вопросительно и удивленно.

– Это Ойген, – сказала она. – Что ему нужно?

И вот... голос Ойгена Бишофа раздался во второй раз:

– Дина! Дина! – кричит он, но теперь его голос звучит совсем иначе, не гнев и тревога, а скорбь, терзание, бесконечное отчаяние слышатся в нем на этот раз.

– Я здесь, Ойген! Здесь! – кричит Дина, выгнувшись из окна.

Две-три секунды тишина. Потом раздается выстрел, и сейчас же после него второй.

Я видел, как отшатнулась Дина. Она замерла в неподвижности, не в силах ни шевельнуться, ни заговорить. Я не мог остаться с нею, меня повлекло вниз посмотреть, что случилось. Помнится, у меня в первый миг возникло представление о двух ворах, пробравшихся в сад за фруктами. Не знаю, как это произошло, но я очутился не в саду, а в совершенно мне незнакомой темной комнате первого этажа. Я не находил выхода – ни окна, ни света. Повсюду стена, я больно ударился

лбом о что-то твердое, угловатое. В течение минуты я бродил впотьмах, ощупывая стены, все яростнее, все беспомощнее.

Потом послышались шаги, открылась дверь, во мраке вспыхнула спичка. Передо мною стоял инженер.

– Что это было? – спросил я, испуганный и встревоженный и все же обрадованный тем, что стало наконец светло и что я не один. – Что это было? Что случилось?

Представление о ворах превратилось в отчетливую картину, и я был убежден, что видел ее. Мне казалось теперь, что их было трое. Один, маленький, бородатый, свесился с садовой ограды, другой только что поднялся с земли, а третий бежал вприпрыжку за кустами и деревьями к павильону.

– Что случилось? – спросил я еще раз.

Спичка погасла, и лицо инженера, бледное и оторопелое, исчезло во мраке.

– Я ищу Дину, – услышал я его слова. – Ее нельзя пускать к нему. Это ужасно. Кто-нибудь из нас должен остаться с нею.

– Она наверху, на веранде.

– Как могли вы ее оставить одну? – крикнул он, и спустя мгновение его уже не было в комнате.

Я вошел в комнату, где мы музицировали. Она была пуста. Опрокинутый стул лежал перед дверью.

Спустился в сад. Помню еще мучительное нетерпение, которое испытывал оттого, что дорога через сад показалась мне такой длинной, бесконечной.

Дверь в павильон была открыта. Я вошел.

Внезапно, прежде еще, чем я окинул взглядом комнату, мне стало ясно, что произошло. Я понял, что борьбы с ворами не было, что Ойген Бишоф покончил с собою. Откуда у меня вдруг появилась такая уверенность, не могу сказать.

Он лежал около письменного стола на полу с лицом, обращенным ко мне. Пиджак и жилет были расстегнуты, револьвер зажат в вытянутой правой руке. При падении он увлек за собою две книги, письменный прибор и маленький мраморный бюст Иффланда. Рядом с ним стоял на коленях доктор Горский.

Когда я вошел, жизнь еще тлела в Ойгене Бишофе. Он открыл глаза, рука у него вздрогнула, голова шевельнулась. Показалось ли мне

это только? Его слегка искаженное болью лицо выразило, так почудилось мне, неопишное изумление, когда он узнал меня.

Он пытался приподняться, хотел заговорить, простонал и откинулся назад. Доктор Горский держал его левую руку.

Но только на протяжении одного короткого мгновения в чертах его было заметно это загадочное выражение безграничного удивления. Потом их исказила гримаса неистовой ненависти.

И этот полный ненависти взгляд устремлен был на меня, не выпускал меня. Ко мне относился он, ко мне одному, и я не мог его объяснить себе, не мог понять, что должен был он означать. И самого себя не понимал я, не мог постигнуть того, что, стоя перед умирающим, испытывал не ужас, не испуг или уныние, а только легкое жуткое чувство от его взгляда и боязнь запачкаться о пятно крови на ковре, которое становилось все шире.

Доктор Горский встал. Лицо Ойгена Бишофа, некогда такое подвижное, превратилось в бледную, застывшую, безмолвную маску.

Со стороны двери я услышал голос Феликса:

– Она идет! Она уже в саду! Доктор, что нам делать?

Доктор Горский снял со стены дождевой плащ и покрыл им бездыханное тело актера.

– Пойдите к ней навстречу, доктор! – попросил Феликс. – Поговорите с нею, я не могу.

Я видел, как Дина шла по саду к павильону и рядом с нею шел инженер и старался удержать ее. Мною овладела вдруг бесконечная усталость, я не мог устоять на ногах, охотнее всего я кинулся бы в траву, чтобы отдохнуть.

– Это ничего, – сказал я себе, – это только временная слабость, быть может, потому, что я раньше так быстро бежал по саду.

И после того как Дина исчезла в дверях павильона, необыкновенная вещь случилась со мною.

Глухой садовник все еще занят был своею работою, склонившись над травой. Для него не произошло ничего, он не слышал ни крика, ни выстрела. Но теперь он, очевидно, почувствовал на себе мой взгляд, потому что выпрямился и посмотрел на меня.

– Вы меня позвали? – спросил он.

Я покачал головой. Нет, я не звал его.

Но он не поверил мне. Шум, заглушенно и смутно проникший в его глухие уши, вызвал в нем неопределенное ощущение, что кто-то произнес его имя.

– Нет, вы меня окликнули, – повторил он ворчливо и, взявшись опять за работу, уже не спускал с меня глаз, подозрительно косясь на меня.

И в этот миг... Только в этот миг охватил меня тот ужас, которого я не испытывал перед трупом Ойгена Бишофа. Теперь он вдруг возник. Отчаяние потрясло меня, мороз пробежал у меня по коже. Нет. Я не звал его... Вот он стоит, и пялит на меня глаза, и поднимает серп, и срезает траву. Это старый глухой садовник, да, но вид у него был одно мгновение такой, как на одной старой картине у фигуры смерти.

Глава 6

Это длилось только короткое мгновение, а затем я опять овладел своими нервами и чувствами. Я покачал головой, я не мог не улыбнуться при мысли, что, грезя наяву, принял простодушного старого слугу за молчаливого посланца смерти, темного лодочника Леты. Медленно пошел я по саду до откоса и там, в укромном уголке между забором и оранжереей, нашел стол и скамью и опустился на нее.

Должно быть, раньше шел дождь, или то была ночная роса? Листья и ветви кустов сирени обдали мне влагой лицо, дождевая капля скользнула по руке. Неподалеку от меня стояли, должно быть, сосны и ели, я не видел их во мраке, но их запах доносился ко мне.

Мне было приятно здесь сидеть, я вдыхал прохладный сырой воздух сада, подставляя порывам ветра лицо, прислушивался к дыханию ночи. Я испытывал тихо сверлящее чувство страха, боялся, что мое отсутствие будет замечено, что меня примутся искать и найдут наконец в этом месте. Нет! Мне нужно было быть одному, ни с кем бы я не мог теперь говорить, ни с Диной, ни с ее братом, и боялся с ними встретиться: что мог бы я им сказать? Только пустые слова утешения, бессодержательность которых была бы мне противна.

Я сознавал, что мое исчезновение должно быть истолковано так, как его, в сущности, следовало истолковать: как бегство от тяжелых впечатлений. Но это было мне безразлично. И я вспомнил, что в детстве часто поступал так же: когда в день ангела моей матери я должен был произнести тщательно выученные пожелания и стихи, на меня нашел такой страх, что я убежал и спрятался, меня не могли разыскать, и возвратился я только по окончании торжества.

Из открытого окна кухни соседнего дома доносились звуки гармоника. Несколько тактов пустого, глупого вальса, который я уже слышал несчетное число раз, «Valse bleue» или «Souvenir de Moscou»^[3] – я не мог вспомнить его названия. Как понять, что эти звуки так меня успокоили, унесли сразу прочь все то, что меня тяготило? «Valse bleue» – хороша траурная музыка! Там, в павильоне, лежит мертвец на полу, существо уже не моего, а иного мира,

непостижимо чуждое существо. Но куда же делся ужас перед возвышенным, перед трагическим, перед непостижимым и непреложным? «Valse bleue»! Банальная мелодия танца, таков ритм жизни и смерти, так мы приходим и так уходим. То, что потрясает нас и повергает ниц, становится иронической усмешкой на лице мирового духа, для которого и страдание, и скорбь, и смерть земнородных не что иное, как извечно и ежечасно повторяющееся явление.

Музыка вдруг оборвалась, и несколько минут стояла глубокая тишина, только дождевые капли не переставали падать с ветвей кленов на стеклянную крышу оранжереи. Потом гармоника опять заиграла, на этот раз – марш... Где-то вблизи пробили часы на башне.

– Десять часов, – насчитал я. – Как поздно! А я сижу здесь и слушаю гармонику. А там... Дина и ее брат... Быть может, я нужен им... Меня, наверное, ищут... Дина не может не думать обо мне.

И тут же мне в голову пришло множество вещей, которыми нужно распорядиться: надо дать знать властям, должен явиться полицейский врач... Затем нужно снестись с похоронным бюро... А я сижу здесь и слушаю музыку, что доносится из кухонного окна! Надо поместить объявления в газетах... Не все же одной Дине делать? А мы-то тут на что же? В газетах не должно быть ни слова о самоубийстве, надо сесть в фиакр и объехать редакции! Скоропостижная смерть любимого артиста... В расцвете творческих сил. Незаменимая утрата для отечественной сцены... для многих тысяч его поклонников... для глубоко потрясенной семьи...

А контора театра! Внезапно пришло мне это на ум. Господи, как мог никто не подумать об этом? Нужно изменить репертуар следующей недели, теперь это важнее всего. Открыта ли еще контора в этот час, да еще в воскресенье? Десять часов – нужно сейчас позвонить, или, еще лучше, позвоню-ка я директору. Как я раньше не подумал это сделать – я, в качестве друга дома?... Но теперь не будем терять времени...

Я собирался вскочить и побежать, меня потянуло действовать, распоряжаться, взять на себя все заботы. «Нужно телефонировать, – сказал я себе еще раз, – через пять минут уже будет, пожалуй, поздно... Никого уже не будет в конторе... Во вторник идет «Король Ричард III»...» И тем не менее я продолжал сидеть, вялый и дряблый,

смертельно утомленный и неспособный осуществить какое-либо из своих намерений.

«Я болен», – шептал я самому себе и еще раз попытался встать. Разумеется, у меня жар, я так и думал. Без пальто и шляпы сидеть на свежем воздухе холодной ночью и при такой сырости – этак и умереть можно. И я достал из кармана газету – она была при мне, бог весть зачем я взял ее с собою – и тщательно разложил ее листы на скамье, чтобы подо мною не было мокро. И вдруг у меня в ушах раздался голос моего старого врача, так отчетливо, словно старик стоял передо мною:

«Что слышу я, барон, мы больны? Немного бурно жили последнее время, не так ли? Немного переутомились, не правда ли? Ну-с, надо полежать немного в постели, денька два-три, быть может, время у нас ведь есть, мы ничего не теряем. Укутаться в одеяло потеплее, и горячего чаю, это наверное не повредит, и покой, только покой и еще раз покой, ни писем, ни газет, ни посетителей, вот это нам будет как полезно! Послушайтесь же старого своего доктора, он вам желает добра, и сейчас же отправляйтесь домой, тут нам нечего делать. Мы очень расхворались, жар, не правда ли? Дайте-ка пощупать пульс...»

Я послушно поднял руку и очнулся от сна – я сидел один на мокрой и холодной скамье. Я в самом деле был болен, озноб сотрясал меня, зубы стучали. Я хотел уйти домой не попрощавшись, я не нужен здесь, кому же я нужен? Дина и Феликс знают сами, что им надо делать, да и доктор Горский с ними, я только мешаю всем.

Спокойной ночи, сад! Спокойной ночи, гармоника, подруга этих одиноких мгновений... Милый старый Ойген, спокойной ночи навеки! Я ухожу и оставляю тебя одного, я больше не нужен тебе...

Я встал, утомленный, промокший и продрогший, и хотел уйти, и ощупью искал свою шляпу. Но не находил и не мог вспомнить, где ее оставил. И в то время, как водил рукою по столу, нащупал книгу, которая лежала здесь раскрытая уже несколько дней или недель.

Быть может, потому, что пальцы мои прикоснулись к отсыревшим от дождя листам, быть может, от порыва ветра, опавшего мне лицо в тот миг, когда я собрался уходить, не знаю, отчего это случилось, но я вдруг ощутил дуновение и запах одного прошедшего дня, ощущал это в течение одной только секунды, но в эту секунду он ожил передо мною, и я его узнал. Осеннее утро за городом, на холмах, куда с

огородов доносился запах вянущей ботвы. Мы шли вверх по лесной дорожке, перед нами высилась зеленая стена холмов, и над вершинами деревьев стлался белый прозрачный туман. Словно предчувствием приближающихся холодов проникнут был пейзаж, холодно и ясно было синее осеннее небо, и по обеим сторонам дороги рдели кусты шиповника.

Дина склонилась головою ко мне на плечо, ветер играл короткими каштановыми кудрями на ее лбу. Мы остановились, и она тихо произносила стихи, стихи о красных листьях осени и о серебристом тумане, опустившемся на холмы.

Потом это видение исчезло, растворилось так же внезапно, как возникло, но другое воспоминание сменило его: дом, стоящий высоко в горах, ночь под Новый год, снежный полог вокруг, окна в ледяных узорах... Как хорошо, что хозяин поставил железную печурку в мою комнату, она трещит и сыплет искрами и добела раскалилась. В дверь скребется мой щенок, и повизгивает, и хочет к нам войти... «Это Замор, – шепчет она, – открой ему, он нас не выдаст». И я оторвался от губ Дины, от объятий Дины, чтобы открыть ему дверь, и на мгновение ворвались в комнату холодный, сквозной ветер, и заглушенная музыка танцев, и звон стаканов...

Потом исчезло и это видение, осталось только ощущение холода, и все еще музыка танцев доносилась из кухонного окна. И меня охватило дикое отчаяние, жгучая боль... О боже мой, как могло случиться, что мы стали друг другу такими чужими?.. Может ли быть, чтобы исчезло то, что когда-то связало двух людей? Как могли мы сегодня сидеть друг против друга как два чужих человека и не обменяться ни словом? Как случилось то, что она так внезапно выскользнула из моих объятий и другой ее держит в своих, а я – я ныне тот, кто скребется в дверь и повизгивает тихо?

И тут, только в это мгновение, я осознал, что тот, другой, – умер; это слово «умер», что оно значит, – я понял только в это мгновение.

И оторопь, и изумление овладели мною при мысли об этой игре случая, по воле которого я оказался здесь, как раз сегодня и в этот час, когда рок свершился. Нет! Это не была игра случая, так было мне суждено, ибо существуют непреложные законы, которым мы подчинены.

И теперь, когда это случилось, я собирался уйти, ускользнуть?

...Я не мог понять, как могла такая мысль прийти мне на ум. А наверху сидит Дина, сидит в темной комнате и ждет.

– Это ты, Готфрид? Ты так долго не возвращался...

– Я встал, дорогая, чтобы открыть дверь. Ты ведь этого хотела. Теперь я снова с тобою...

В павильоне был еще свет. Я стоял, притаившись за каштановым деревом, и ждал.

Дверь открылась, и я услышал голоса. Феликс вышел с фонарем в руке и медленно направился к дому.

За ним как тени шли две фигуры: Дина и доктор Горский.

Она меня не видела.

– Дина, – сказал я тихо, когда она проходила мимо меня так близко, что почти коснулась меня рукою.

Она остановилась и ухватила за руку доктора Горского.

– Дина, – повторил я.

Тогда она выпустила руку доктора и шагнула в мою сторону.

Фонарь скользнул вверх по ступеням и исчез в дверях виллы. Одно мгновение я видел в его лучах фигуру Дины, одно мгновение деревья, кусты и гирлянды плюща отбрасывали тени – потом сад опять погрузился в глубокий мрак.

– Вы еще здесь? – услышал я голос Дины. – Что нужно вам здесь еще?

Что-то скользнуло по моему лбу, словно прикосновение легкой теплой руки. Я поднял руку ко лбу – это был только блеклый лист каштана, слетавший с вершины дерева на землю.

– Я искал своего Замора, – ответил я и хотел этим сказать, что думал о прошедших временах.

Долгое молчание.

– Если в вас есть искра человечности, – раздался наконец тихий и робкий голос Дины, – уходите отсюда, уходите сейчас.

Глава 7

Я стоял и смотрел ей вслед, несколько минут в ушах у меня звучал только любимый голос, и она уже давно исчезла, когда до моего сознания дошли наконец ее слова.

В первое мгновение я чувствовал беспомощность и был бесконечно ошеломлен, но потом во мне проснулся сильный гнев, я в крайнем ожесточении восстал против смысла ее слов, я понял, как они оскорбительны. Теперь уйти! Теперь ведь я не мог уйти. Жар, и озноб, и усталость исчезли... «Я их потребую к ответу, – бушевало во мне, – они должны мне представить объяснения, Феликс, доктор Горский, я настаиваю на этом. Я ведь ей ничего не сделал, бог ты мой, что же я сделал ей?..»

Разумеется, произошло несчастье, огромное несчастье, и его, пожалуй, можно было предотвратить! Но ведь я не виноват в этом несчастье, не я же в нем виноват! Его не следовало оставлять одного, ни одной минуты не должен был он оставаться один; каким образом вообще у него оказался револьвер? А теперь еще, чего доброго, на меня хотят взвалить вину? Я понимаю, что в такое мгновение люди могут быть несправедливы и не взвешивают своих слов. Но именно поэтому я должен остаться, я вправе потребовать объяснений, я должен...

Вдруг меня осенила мысль, совершенно естественная мысль, в свете которой мое волнение показалось мне смешным. Несомненно, это недоразумение. Это может быть, конечно же, только недоразумением. Я неправильно понял слова Дины, смысл их был совсем не тот. Она хотела просто сказать, чтобы я шел домой, потому что больше здесь ничем не могу помочь. Это ясно. Совершенно ясно. Никто и не думал возлагать на меня вину. Надо мною просто подшутили мои раздраженные нервы. Доктор Горский был при этом и слышал ее слова. Я решил подождать его, он должен был мне подтвердить, что все это было простым недоразумением.

«Долго это ведь не может длиться, – говорил я себе, – долго мне ждать не придется. Феликс и доктор Горский должны скоро вернуться,

нельзя же бедного Ойгена... Не оставят же они его одного на всю ночь лежащим на полу».

Я тихо подошел к окну, подкрался, как вор, и заглянул в комнату. Он все еще лежал на полу, но его покрыли платком, шотландским пледом. Я видел его как-то в «Макбете», об этом я вспомнил невольно, и тотчас же в ушах у меня раздались слова леди Макбет: «Всех аравийских ароматов мало...»

И тут я опять почувствовал озноб и усталость, холодный пот и жар, но подавил в себе эти ощущения.

«Вздор! – сказал я себе. – Эти страхи, право же, совершенно тут неуместны». Я решительно открыл дверь и вошел, но эта решительность сразу же уступила место опасливой робости, потому что я впервые оказался наедине с мертвецом.

Вот он лежал, закрытый пледом, видна была только его правая рука. В ней уже не было револьвера, кто-то взял его и положил на столик, стоявший посередине комнаты. Я подошел, чтобы рассмотреть оружие, и заметил в этот миг, что я в комнате не один.

Инженер стоял за письменным столом у стены, склонившись над чем-то, чего я не видел. Казалось, он погружен в созерцание узора обоев, так внимательно он присматривался к ним. Заслышав мои шаги, он обернулся.

– Это вы, барон? Какой у вас вид! Вас очень потрясло это событие, не правда ли?

Он стоял передо мною, широко расставив ноги, руки засунув в карманы, с папиросой в зубах... В комнате, где лежит покойник, с папиросой в зубах... Воплощенная нечуткость – таким он стоял передо мною.

– Вы в первый раз стоите перед трупом? Не так ли? Вы счастливчик, барон! Эх вы, офицеры мирного времени!.. Я это сразу понял: вы ступаете так осторожно. Можете шагать тверже, тут вы никого не разбудите.

Я молчал. Он бросил папиросу очень уверенным жестом в пепельницу, стоявшую в нескольких шагах от него на письменном столе, и сейчас же закурил другую.

– Я прибалтийский немец, вы это знаете? – продолжал он затем. – Родился в Митаве и участвовал в Русско-японской войне.

– Цусима? – спросил я.

Не знаю, почему мне как раз пришло в голову название этой морской битвы. Я подумал, что он был, вероятно, инженером флота или чем-то в этом роде.

– Нет, Мунхо, – ответил он. – Вам доводилось об этом слышать?

Я покачал головой.

– Мунхо. Это не местность. Это река. Желтая вода между цепями холмов. Об этом лучше не вспоминать. Там они лежали однажды утром, пятьсот или больше, один подле другого, целая цепь стрелков с обожженными руками и желтыми, искаженными лицами... Дьявольщина! Нет для этого другого слова.

– Мина? – спросил я.

– Токи высокого напряжения. Моя работа. Тысяча двести вольт. Подчас, когда мне вспоминается это, я говорю себе: что ж такое, Дальний Восток, две тысячи миль отсюда, пять лет прошло, в пыль и прах обратилось все то, что ты видел там. Никакие рассуждения не помогают. Такая вещь запечатлевается, такую вещь нельзя забыть.

Он молчал и выпускал дым папиросы в воздух красиво закругленными кольцами. Все, что касалось курения, приняло у него характер жонглерского искусства.

– Теперь они собираются уничтожить войну, – продолжал он, помолчав немного. – Войну хотят они упразднить! Разве это поможет? Вот это, – он движением пальца указал на револьвер, – хотят уничтожить и все другое в этом роде. Какое же это спасение? Человеческая подлость останется, а она из всех орудий убийства самое смертоносное орудие.

«Зачем он говорит мне это? – спросил я себя в удивлении и беспокойстве. – Почему глядит на меня так странно? Уж не считает ли он меня виновным в самоубийстве Ойгена Бишофа?»

И я сказал тихо:

– Он добровольно покончил с собою.

– Вот как? Добровольно? – воскликнул инженер с испугавшей меня запальчивостью. – Вы в этом вполне уверены? Выслушайте меня, барон. Я первый проник в эту комнату. Дверь была заперта изнутри, я разбил окно, осколки еще не убраны. Я видел его лицо, я был первый, увидевший его лицо. И я говорю вам: отчаяние, искажившее лица тех пятисот на реке Мунхо, которые во мраке взбегали на холм и знали, что в следующий миг прикоснутся к проволоке, это отчаяние было

ничто по сравнению с тем, что выражало лицо Ойгена Бишофа. Он испытывал страх, безумный страх перед чем-то, что скрыто от нас. И чтобы спастись от этого страха, схватился за револьвер. Добровольно покончил с собою? Нет, барон! Ойгена Бишофа вогнали в смерть.

Он приподнял немного одеяло, закрывавшее мертвеца, и посмотрел на его застывшее лицо.

– Точно кнутом вогнали в смерть, – сказал он затем с глубоким волнением в голосе, которое не вязалось с его характером.

Я отвернулся. Я не мог смотреть в ту сторону.

– Вы думаете, стало быть, – сказал я, помолчав, и горло у меня было точно сдавлено, мне трудно было говорить, – если я вас правильно понял, вы думаете, что он об этом узнал, что это каким-то образом дошло до его слуха...

– Что? О чем вы говорите?

– Вы знаете, вероятно, что банкирский дом, где хранились его сбережения, обанкротился.

– Вот как? Представьте себе, я этого не знал. Я слышу об этом в первый раз... Нет, барон, не в этом разгадка. Страх, который выражало его лицо, был иного рода. Деньги? Нет, дело тут было не в деньгах. Вам надо было видеть его лицо – это объяснить невозможно. Когда я проник в комнату, – продолжал он после паузы, – он мог еще говорить. Произнес он только несколько слов, я понял их, хотя это был скорее лепет, чем внятная речь... Очень странные слова... Правда, в устах умирающего...

Он зашагал по комнате и покачал головою.

– Странные слова... Я, в сущности, знал его так мало. Так мало знает один человек о другом. Вы знали его лучше или, по крайней мере, дольше. Скажите мне, каково было его отношение к религии, я хочу сказать – к церкви? Считали вы его набожным человеком?

– Набожным? Он был суеверен, как большинство актеров. Суеверен в мелочах. Набожности в церковном смысле я у него никогда не замечал.

– Неужели это было все-таки его последней мыслью? Эта сказка для легковверных детей? – спросил инженер и пристально посмотрел на меня.

Я ничего не сказал, я не знал, о чем он говорит. Да он и не ждал, вероятно, ответа.

– Nevermind!^[4] – сказал он самому себе, легко шевельнув рукою. – Тоже одна из тех вещей, которых мы никогда не постигнем.

Он взял револьвер со стола и взглянул на него с таким выражением, по которому видно было, что думает он о чем-то другом. Потом опять положил его на стол.

– Откуда у него взялось это оружие? – спросил я. – Это была его собственность?

Инженер вышел из своего забытья.

– Этот револьвер? Да, это его собственность. Он всегда носил его при себе, говорит Феликс. Когда он возвращался домой по ночам, ему приходилось идти полем и пустырями. Там много бродяг. Он боялся ночных встреч... Роковое значение имело именно то обстоятельство, что у него в кармане был заряженный револьвер. Прыжок из окна – это в данном случае не имело бы роковых последствий. Растяжение жилы, легкий вывих, а может быть, и того бы не случилось.

Он открыл окно и выглянул в сад. Несколько мгновений стоял он так, и ветер надувал и раскачивал оконные шторы. В саду шумели каштановые деревья. Бумаги на письменном столе шелестели, и опавший лист каштана, залетевший в комнату, бесшумно порхал по полу.

Инженер закрыл окно и опять повернулся ко мне.

– Он не был трусом. Поистине, трусом он не был. Справиться с ним было его убийце нелегко.

– Его убийце?

– Конечно. Его убийце. Он был загнан в смерть. Смотрите, вот здесь стоял он, а там – другой.

Он показал на то место стены, которое рассматривал при моем появлении.

– Они стояли друг против друга, – произнес он медленно и смотрел при этом на меня. – Лицом к лицу, как на дуэли.

Я оцепенел, внимая тому, как он говорил об этом с уверенностью очевидца.

– Кого же, – спросил я, дрожа и снова чувствуя, что у меня стиснуло горло, – кого считаете вы убийцей?

Инженер молча посмотрел на меня, не сказал ни слова, медленно поднял плечи и опять их опустил.

– Вы все еще здесь? – раздалось вдруг со стороны двери. – Отчего вы не уходите?

Я испуганно оглянулся. В дверях стоял доктор Горский и смотрел на меня.

– Уходите же! Ради бога, скройтесь скорее!

Уйти было поздно. В этот миг уже поздно было уйти.

За доктором появился брат Дины, отодвинул его в сторону и остановился передо мною.

Я посмотрел ему в лицо – как он похож был в этот миг на свою сестру! Тот же оригинальный овал лица, тот же своевольный очерк губ.

– Вы еще здесь! – сказал он мне с ледяной учтивостью, жутко контрастировавшей со страстным возгласом доктора. – Я на это не рассчитывал. Тем лучше, мы можем сейчас объясниться.

Глава 8

Я взял себя в руки. В тот миг, когда брат Дины появился в комнате, мне стало ясно, что стоящий передо мною человек – мой смертельный враг, что было бы бессмысленно спастись бегством от этого объяснения и что сражение нужно принять. Но из-за чего предстояло нам сразиться, это я в то мгновение сказать бы не мог. Знал я только, что должен остаться и смотреть противнику прямо в лицо, что бы меня ни ожидало.

Доктор Горский сделал попытку в последний момент предотвратить назревавшее событие.

– Феликс! – произнес он и показал заклинаящим и укоризненным жестом на шотландский плед, которым был покрыт мертвец. – Вспомните же, где мы находимся! Неужели этого нельзя отложить?

– Зачем же откладывать, доктор, так лучше, – сказал Феликс, не сводя с меня глаз. – Я очень доволен, что господин ротмистр еще здесь.

Он назвал меня, вопреки своему обыкновению, по моему чину. Я знал, что это должно означать. Доктор Горский еще мгновение стоял между нами в нерешительности, потом пожал плечами и направился к двери, чтобы оставить нас одних.

Но Феликс удержал его.

– Я прошу вас остаться, доктор, – сказал он. – Возможно, что дело примет один из тех оборотов, при которых обычно оказывается полезным присутствие третьего лица.

Доктор Горский, казалось, не сразу понял смысл этого замечания. Он поглядел на меня смущенно, как бы извиняясь за то, что становится свидетелем нашего разговора. Наконец он уселся на краешек письменного стола в позе, говорившей о его намерении в любое время, если это окажется желательным, покинуть комнату. Для инженера, которого никто не просил остаться, это послужило основанием тоже усесться. Он завладел единственным стулом, находившимся в комнате, закурил папиросу затейливым образом, воспользовавшись для этого только двумя пальцами левой руки, и сделал такой вид, словно

правомерность его пребывания в комнате ни с чьей стороны не может вызвать сомнений.

Я видел и наблюдал это все с чисто практическим интересом, я был теперь совершенно хладнокровен, вполне владел своими нервами и спокойно ждал того, что надвигалось. Но с минуту длилось молчание. Феликс стоял, согнувшись над трупом Ойгена Бишофа, я не видел его лица, но мне казалось, что он борется со страданием, что дальше он не в силах носить маску неестественного спокойствия. Было даже мгновение, когда я ожидал, что, отдавшись порыву, он бросится на труп и такое излияние чувств положит конец этой сцене. Но ничего такого не случилось. Он выпрямился. Лицо его, когда он повернулся ко мне, свидетельствовало о полном самообладании. Он только снова накиннул на голову мертвеца соскользнувший на пол платок – я это заметил.

– К сожалению, времени у нас немного, – заговорил он, и в голосе его не слышалось ни горя, ни волнения. – Приблизительно через полчаса здесь будут представители власти, и я хотел бы, чтобы до этого времени наше дело было урегулировано.

– В этом отношении наши желания совпадают, – сказал я, поглядев на инженера. – Мне кажется, что свидетелей здесь вполне достаточно, так как эти два господина, как я вижу, были любезны предоставить себя в наше распоряжение для этого объяснения.

Доктор Горский беспokoйно заерзал на краешке стола, но инженер имел наглость утвердительно кивнуть головою на мои слова.

– Сольгруб и доктор Горский – мои друзья, – ответил Феликс. – Мне важно, чтобы у них составилось по возможности ясное представление о положении вещей, и я не умолчу ни об одном из обстоятельств, относящихся к делу; среди них и о том факте, господин ротмистр, что Дина четыре года тому назад была вашей любовницей.

Я вздрогнул. Этого я не мог ожидать. Но моя оторопь длилась очень недолго, и спустя несколько секунд я уже обдумал каждое слово своего ответа.

– Согласившись на этот разговор, я ожидал нападений, но не мог предполагать, что они будут направлены против женщины, которую я высоко чту, – сказал я. – Допускать их я не намерен. Благоволите выбранное вами выражение...

– Взять обратно? К чему, господин ротмистр? Могу вас уверить, что оно вполне соответствует пониманию Дины.

– Надлежит ли мне понять вас в том смысле, что вы уполномочены на этот разговор вашей сестрой?

– Конечно, господин ротмистр.

– В таком случае прошу вас продолжать.

По его губам скользнула мальчишеская самодовольная усмешка удовлетворения; эта первая схватка окончилась его полным торжеством. Но усмешка эта тотчас же исчезла с его лица, и тон, в котором он продолжал говорить, оставался по-прежнему корректным и почти любезным.

– Эти отношения, насчет характера которых мы, таким образом, пришли к соглашению, продолжались около полугода. Они окончились, когда вам пожелалось предпринять путешествие в Японию. Я говорю «окончились», хотя этот конец представлялся вам только предварительным...

– Я предпринял путешествие не в Японию, а в Тонкин и Камбоджу, – прервал я его, – и отправился туда не ради своего удовольствия, а по поручению Министерства земледелия, – прибавил я, маскируя этими совершенно ничтожными поправками свое беспредельное изумление. «Как мог он так легко, так равнодушно скользнуть мимо того факта, что его сестра была моею любовницей? Куда он гнет? – спрашивал я себя. – Если он желает получить удовлетворение, то я готов к этому. Что же он замышляет еще?..» И тихое чувство страха овладело мною, предчувствие надвигающейся и неизвестной мне опасности, и этот страх не покидал меня.

– В Тонкин и Камбоджу? – продолжал Феликс, и его рука в белой повязке сделала легкий жест извинения. – Цель вашего путешествия не играет в данном случае роли. Но когда вы приблизительно через год возвратились, вас ждала перемена, которой вы не ожидали: вы застали Дину женой другого, вам пришлось узнать, что вы стали ей чужим человеком.

Да. Так это было. И теперь, в то время как он говорил, старая боль бурно во мне поднялась, жгучий гнев разочарования и вместе с ним новое чувство, доныне мне незнакомое, чувство ненависти к этому молокососу, который стоял передо мною и прикасался своими руками к вещам, глубоко во мне затаенным. Разве я здесь для того нахожусь,

чтобы держать ответ? Должен ли я спокойно взирать, как он предает любопытным взглядам чужих людей все то, что в течение ряда лет было моею тайной? «Довольно!» – хотелось мне крикнуть ему, чтобы положить конец этой сцене. Но тут опять возникла прежняя боязнь, страх перед чем-то неопределенным, грозную близость чего я чувствовал, и эта боязнь парализовала меня и делала меня беспомощным и лежала на мне тяжело, как кошмар.

Брат Дины продолжал говорить совершенно бесстрастным голосом, и я должен был его слушать.

– Что женщина, которую вы считали нерасторжимо привязанной к вам, освободилась от вас и стала принадлежать другому, с этой мыслью вы, по-видимому, не могли примириться. Это было первое поражение, которое вы понесли, и вы пожелали реванша. Взять Дину снова – это стало задачей вашей жизни. Все, что вы с тех пор предпринимали, как бы ни были с виду незначительны ваши поступки, служило исключительно этой цели.

Он приостановился, может быть, для того, чтобы дать мне время для какого-нибудь замечания, возражения. Но я ничего не сказал, и он поэтому продолжал:

– Я долго наблюдал за вами, в течение ряда лет, с напряженным интересом, словно все это было спортом или волнующей шахматной партией, словно дело касалось какого-нибудь почетного кубка, а не счастья моей сестры. Я видел, какие странные вы выбирали пути для медленного приближения, как преодолевали или обходили препятствия, как описывали круги вокруг этого дома, и эти круги становились все уже и уже. Вы ухитрились добиться того, что вас позвали, и вот вы однажды появились и стали между Диной и ее мужем.

Теперь это должно было произойти, мгновение было близко. Я чувствовал, как дрожат у меня руки в нервном ожидании, я не мог дышать, так угнетала меня тишина, царившая в комнате. Чуть ли не облегчение испытал я, когда Феликс опять заговорил:

– Сегодня я могу вам сказать, господин ротмистр, что исход этой борьбы никогда не казался мне сомнительным. Вы были сильнее, потому что имели в виду одну только цель, и рядом с нею для вас отступало на задний план все остальное в жизни. Это делало вас

непреодолимым. Для меня было ясно, что это супружество недолговечно, потому что так хотели вы.

Опять он приостановился, и моя боязнь обострилась в невыносимой мере. Прошло с полминуты, я перевел взгляд на доктора Горского. Он прислонился к письменному столу в позе сильнейшего нервного напряжения, лицо его выражало совершеннейшую растерянность; от него, я это видел, нечего было ждать помощи. Инженер сидел в кресле, окутанный облаком табачного дыма, и, скучая, рассматривал свои ногти, словно мысли его были заняты другими вещами.

– Все это осталось позади, – нарушил Феликс мучительное молчание. – Вы свою партию проиграли, барон. Вы сделали непоправимую ошибку. Понимаете вы, что я этим хочу сказать? Ни за что и ни на одно мгновение не потерпит Дина в своей близости человека, на совести которого – смерть ее мужа.

Так вот оно что! Вот он, лик угрозы, перед которою я трепетал. И теперь, когда решительное слово было сказано, оно показалось мне смешным и нелепым. Чувство уверенности опять вернулось ко мне, мой страх исчез, я стоял перед противником, который разрядил свой пистолет и промахнулся. Теперь очередь была за мною, все остальное было в моей власти. Я чувствовал свое неизмеримое превосходство над этим юнцом, осмелившимся выступить против меня. Теперь я был сильнее и знал, как мне нужно действовать.

Я подошел к нему вплотную и посмотрел ему в глаза.

– Я надеюсь, – сказал я, – что вам не приходится в голову возлагать на меня или на кого-либо другого ответственность за это прискорбное событие.

Слова мои произвели то действие, какого я ждал. Он не выдержал моего взгляда, попятился на шаг.

– Вы меня озадачили, господин ротмистр, – ответил он. – Чего угодно мог я ждать от вас, только не запирательства. Говоря вполне откровенно, я не понимаю вас. Разве вы не боитесь, что эта ваша попытка может быть ложно истолкована? Недостатка мужества я у вас до сих пор никогда не замечал.

– Вопрос о моем личном мужестве оставим покамест в стороне, – сказал я тоном, совершенно недвусмысленно говорившим о моих

дальнейших намерениях. – Благоволите мне прежде всего сообщить, какова была, по вашему мнению, моя роль в настоящем происшествии.

Его замешательство было непритворно, но он успел уже овладеть собою.

– Я надеялся, что вы меня от этого освободите, – сказал он. – Но вы на этом настаиваете – извольте! Я буду краток: вы разузнали каким-то образом, что мой зять доверил свои сбережения, а также небольшое состояние моей сестры банкирскому дому Бергштейна, о крахе которого сегодня говорят газеты. Вы знали также или догадывались, что Дина решила как можно дольше скрывать от мужа эту катастрофу. Оба эти факта сделались оружием в ваших руках. Сегодня днем вы делали повторные попытки перевести беседу на эту тему. Вы несколько раз прицеливались в Ойгена и всякий раз опускали оружие, когда замечали, что мы наблюдаем за вами, Дина и я. Вы искали более благоприятной обстановки... Нужно ли мне продолжать? Когда Ойген вышел из комнаты, вы последовали за ним сюда. Тут вы наконец остались с ним наедине, никто не мог ему помочь. Вы сказали ему беспощадно то, что мы от него скрывали. Затем вы оставили его одного, и спустя две минуты раздался выстрел, которого вы ждали. План ваш был прост, вы знали, что он давно утратил веру в себя и в свою будущность.

– Раздалось два выстрела, – сказал внезапно инженер, но никто из нас не повернулся в его сторону.

Я решил, что пора положить конец всей этой сцене.

– Это все? – спросил я.

Феликс не ответил.

– Свои предположения вы сообщили также фрау Бишоф?

– Я говорил об этом со своею сестрою.

– Вы прежде всего обязаны сообщить фрау Бишоф еще сегодня, что ваше предположение было ошибочно. Я не имею никакого касательства к этому происшествию. С Ойгеном Бишофом я не говорил. В эту комнату я не входил.

– Вы в эту комнату... Нет, Дины больше здесь нет. Полчаса тому назад мы отвезли ее к родителям. Вы говорите, что в эту комнату не входили?

– В том порукой мое слово.

– Слово офицера?

– Честное слово.

– Ваше честное слово? – медленно повторил Феликс.

Он стоял передо мною, немного согнувшись, и кивнул два-три раза головою.

Потом его поза изменилась. Он выпрямился и потянулся, как человек, благополучно доведший до конца трудную работу. По его плотно сжатым губам скользнула усмешка и сейчас же исчезла.

– Ваше честное слово! – сказал он еще раз. – Положение тем самым, конечно, изменяется. Это значительно упрощает дело – такое честное слово. Если вам угодно подарить мне еще минуту внимания... Таинственный посетитель, видите ли, позабыл в этой комнате один предмет – отнюдь не ценный; быть может, он его не хватился и до сих пор. Поглядите-ка – вот это.

В перевязанной руке он держал что-то блестящее, я подошел ближе, я сразу узнал эту вещь и затем в ужасе схватился за карман пиджака, чтобы нащупать мою маленькую английскую трубку, которую всегда носил при себе, – карман был пуст.

– Трубка лежала на столе, – продолжал Феликс. – Она лежала здесь, когда мы вошли, доктор Горский и я. Доктор, живо...

Все заколыхалось вокруг меня. В глазах потемнело. Как давно забытое воспоминание, выплывшее из дали времен, возникло виденное: я иду по саду, по песчаной аллее, мимо грядок с фуксиями... Куда я направляюсь? Что нужно мне в павильоне? Дверь заскрипела, отворяясь. Как побледнел Ойген Бишоф при моих первых, шепотом произнесенных словах, растерянно вытаращив глаза на газетный лист, как вскочил и опять опустился на стул! И этот пугливый взгляд, проводивший меня, когда я вышел из павильона и закрыл за собою скрипучую дверь... На террасе свет... Это Дина... Поднимаюсь к ней... И вдруг – крик, выстрел! Внизу стоит смерть, и я... да, я позвал ее...

– Доктор, живо, он падает, – прозвучало у меня в ушах.

Нет. Я не упал. Я открыл глаза и сидел в кресле. Передо мною стоял Феликс.

– Это ваша трубка, не правда ли?

Я кивнул головою. Рука в белой повязке медленно опустилась.

Я встал.

– Вы собираетесь уйти, барон! – сказал Феликс. – Что ж, дело выяснено, и я не должен отнимать у вас время. Честное слово, честное слово офицера не принадлежит, надо думать, к вещам, на которые мы смотрим различно. И так как мы едва ли еще встретимся в жизни, я хотел бы вам только сказать еще, что, в сущности, никогда не питал к вам вражды, сегодня – тоже. Я всегда был к вам расположен, барон. Чувствовал к вам странную симпатию. Не симпатию даже, это неподходящее слово, это было нечто большее. Я люблю свою сестру. Вы вправе спросить, отчего, несмотря на эти чувства, поставил я вас в такое положение, из которого для вас при создавшихся условиях существует только один выход. Можно, видите ли, любоваться каким-нибудь тигром или леопардом, можно восхищаться грацией и движениями такого зверя или смелостью его прыжка и тем не менее хладнокровно его пристрелить – просто потому, что это хищный зверь... Мне остается еще только уверить вас, что в исполнении решений, несомненно уже принятых нами, вы отнюдь не связаны сроком в двадцать четыре часа. Суд чести вашего полка я займу этим происшествием, если только вообще это окажется необходимым, во всяком случае, не раньше, чем по истечении этой недели. Это все, что я вам хотел еще сказать.

Я слышал все это, но мысли мои прикованы были к темному дулу револьвера, лежавшего на столе. Я видел его два больших круглых глаза, уставившихся в мои глаза, оно придвигалось ко мне все ближе и ближе, становилось все больше и больше, оно поглотило пространство, я ничего не видел, кроме него.

– Ты несправедлив к барону, Феликс, – услышал я внезапно голос инженера, – он так же мало имеет отношения к этому убийству, как ты и я.

Глава 9

У меня сохранилось только смутное воспоминание о том мгновении, когда сознание опять вернулось ко мне. Я услышал свой глубокий вздох, это был первый звук, нарушивший тишину в комнате. Потом я ощутил тихо сверлящее чувство в голове, не настоящую боль, а недомогание, скоро прошедшее.

Первым душевным движением, в котором я могу дать себе отчет, было изумление. «Куда я попал? – промелькнула у меня мысль. – Что это было, в каком я находился бреду?» К этому присоединилось затем чувство уныния. «Как это может быть?» – спрашивал я себя, испуганный и пораженный. Я видел себя входящим в эту комнату, слышал себя шепчущим слова, которые никогда у меня не слетали с губ! Я, я сам поверил в свою вину! Как это может быть? Обольщение чувств? Сон наяву подшутил надо мною! Чужая воля стремилась принудить меня взять на себя поступок, не совершенный мною. Нет, я не был в этой комнате, я не говорил с Ойгеном Бишофом, не я убийца! Все это было сном и бредом, выползшим из преисподней и загнанным теперь обратно!..

Я облегченно и освобожденно вздохнул. Я устоял, я не сдался, непостижимая сила, придавившая меня, теперь сломлена. Во мне и вокруг меня все стало иным, я снова принадлежал действительности.

Я поднял глаза и увидел перед собою выпрямившегося Феликса, губы его все еще были сжаты в своевольном выражении вражды и черствости. Он, казалось, решил не упускать из рук своей победы и резко повернулся в сторону инженера как против нового и опасного врага. Он взглянул на него недоверчиво из-под нахмуренных бровей, готовый атаковать его, и рука в белой повязке поднялась в жесте гневной озадаченности. Инженера не смутило это движение.

– Успокойся, Феликс! – сказал он. – Я отлично знаю, что говорю. Я обстоятельно все обдумал и пришел к убеждению, что барон ни в чем не виноват. Ты был не прав по отношению к нему, я требую только одного – чтобы ты меня выслушал.

Уверенность, с какой он говорил, оказала на мои нервы благотворное влияние. Чувство освобожденности, воспоминание о

мучительном кошмаре, одним только мгновением раньше угнетавшем меня, теперь исчезло. Что меня совершенно серьезно обвиняли в убийстве – это казалось мне теперь фантастической нелепостью. Теперь, когда ясный свет, свет действительности начинал струиться на вещи, я испытывал только своего рода напряжение, напряжение совершенно непричастного к делу человека, простое любопытство, и больше ничего. «Как это все распутается? – спрашивал я себя. – Кто вогнал Ойгена Бишофа в смерть? На ком лежит бремя вины? А моя трубка, этот глупый свидетель, – по какому сцеплению обстоятельств попала она в эту комнату, на этот стол? Кого она уличает?»

Это я хотел, это я должен был установить, и глаза мои невольно приковались к инженеру, словно ему известен был выход из этого лабиринта неразрешенных загадок.

Не знаю, какое чувство в этот миг возобладало в моем противнике, были ли то гнев, нетерпение, раздражение, досада или разочарование, во всяком случае, ему удалось его скрыть. Лицо его опять приняло вежливое и любезное выражение, и гневное движение руки перешло в сдержанный приглашающий жест.

– Я весьма заинтересован, Вольдемар, – сказал он. – Говори. Но ты поторопишься, не правда ли, мне кажется, я уже слышу сирену полицейского автомобиля.

С улицы действительно доносились гудки, но инженер не обратил на это внимания. И когда он заговорил, я опять осознал на короткий миг, что речь идет обо мне, о данном мною слове, о моих чести и жизни. Но сейчас же после этого опять появилось чувство спокойствия, уверенности, полной непричастности, теперь ведь все должно было естественным образом разъясниться. Представление, что на мне лежит еще тяжесть этого чудовищного подозрения, совершенно не умещалось у меня в мозгу.

– Не правда ли, – сказал инженер, – когда раздались выстрелы, барон фон Пош находился в доме наверху – это тебе известно? На веранде, в беседе с твоей сестрою. Из этого должны мы исходить.

– Пусть так, – сказал Феликс тоном, каким говорят о безразличных вещах. Он все еще прислушивался, но звуки автомобиля замерли вдали.

– Это мы должны запомнить. Это важное обстоятельство, – продолжал инженер, – ибо у меня есть основание предполагать, что

незнакомец, посетивший Ойгена Бишофа, еще находился в этой комнате в то мгновение, когда раздались оба выстрела.

– Оба выстрела? Я слышал только один.

– Их было два. Я еще не исследовал револьвер, но расследование покажет, что я прав.

Он подошел к стене и показал на голубые цветы и арабески обоев:

– Здесь засела пуля. Он оборонялся, Феликс. Он выстрелил в своего преследователя и сейчас же после этого обратил оружие против себя. Так обстоит дело. Барон был в критический момент наверху, на террасе. О нем поэтому не может быть и речи при розысках незнакомого посетителя, это не подлежит сомнению.

Доктор Горский согнулся над простреленным местом в обоях и перочинным ножом старался выколупать пулю. Я слышал шелест осыпавшейся штукатурки. Феликс все еще прислушивался к шумам на улице.

– Так ли уж это несомненно? – спросил он, помолчав, не поворачивая головы. – Как проник незнакомый посетитель в сад, не можешь ли ты мне это сказать? Никто его не видел, никто не слышал звонка... Я знаю заранее, что ты мне ответишь: у него был второй ключ от калитки, у твоего незнакомца, не правда ли?

Инженер покачал головой:

– Нет. Я склонен, скорее, думать, что он долго – быть может, несколько часов – поджидал Ойгена Бишофа здесь, в павильоне.

– Вот как! Не объяснишь ли ты мне также, каким образом он вышел из комнаты? Ты утверждаешь, что он был еще здесь, когда раздался первый выстрел, но между обоими выстрелами прошло не больше секунды, а когда мы прибежали, дверь была заперта изнутри.

– Об этом я долго думал, – сказал инженер без всякого замешательства. – Окна были тоже заперты. Охотно сознаюсь, что это – слабое место в моих рассуждениях, донныне – единственное, которое могло бы послужить уликой против барона.

– Единственное! – воскликнул Феликс. – А его трубка? Кто принес сюда эту английскую трубку? Не твой ли загадочный посетитель? Или уж не сам ли Ойген?

– Эту вторую возможность я бы не отверг а priori, – сказал инженер.

У Феликса готова была сорваться гневная реплика с языка, но его предупредил доктор Горский, до этого времени слушавший молча.

– Не знаю, – сказал он, – я ведь могу ошибаться, но мне кажется, что я действительно видел трубку один миг в руке Ойгена Бишофа...

– В самом деле, доктор? – перебил его Феликс. – Но случилось ли вам видеть его когда-нибудь курящим? Нет, доктор, мой зять Ойген не курил, ему был противен табак...

– Я ведь и не утверждаю, – прервал его доктор, – что он собирался курить. Может быть, он взял с собою трубку машинально, оттого, что она ему попала в руки. Я и сам однажды по рассеянности вышел на улицу с большими ножницами для бумаги, и если бы не встретился со знакомым...

– Нет, доктор, придется уж вам поискать более разумные объяснения. Когда я вошел сюда, в трубке еще тлел пепел, и, поглядите-ка, там, в углу, лежит с полдюжины сожженных спичек. Трубку раскуривали здесь.

Доктор не знал, что на это ответить, но на инженера эти слова произвели впечатление, которое трудно описать.

Он вскочил. Он вдруг побледнел как полотно. Вытаращив глаза, переводил их с одного на другого и потом закричал:

– В трубке еще тлел пепел! Вот оно! Ты помнишь, Феликс? На письменном столе еще лежала его тлеющая папироса.

Никто из нас не понимал, что он хочет сказать. От волнения он заговорил с резко выраженным прибалтийским акцентом, это меня больше всего поразило. Мы смотрели на него в изумлении. Страшно бледный, на себя не похожий, потрясенный, стоял он перед нами и не мог ничего ни сказать, ни объяснить. Он только лепетал и был при этом в ярости, что мы его не понимаем. Феликс покачал головою:

– Вырази свою мысль яснее, Вольдемар, я не понял ни слова.

– А я-то первый был в этой комнате! – крикнул инженер. – Черт бы меня взял, где были мои глаза! Выразиться яснее! Как будто это и так не ясно! Он заперся, как Ойген Бишоф, и потом, когда хозяйка вошла, на его письменном столе лежала тлеющая папироса. Не понимаешь ты меня или не хочешь понять?

Теперь я понял наконец, о чем он говорит. Я уже позабыл о таинственном самоубийстве того морского офицера, с которым дружил Ойген Бишоф. Пронизав меня трепетом, сходство обеих трагедий

уяснилось мне. Смутно и волнующе осенила меня в этот миг впервые догадка об их взаимной связи.

– Те же внешние обстоятельства и тот же ход событий, – сказал инженер и провел рукою по изборожденному лбу. – Почти тот же ход, и при этом во всех трех случаях отсутствие каких-либо видимых побудительных мотивов.

– Какие ты делаешь из этого выводы? – спросил Феликс оторопело, не вполне уже уверенный в своей правоте.

– Прежде всего тот вывод, что на бароне Поше нет никакой вины. Ясно ли это тебе, наконец?

– А на ком вина, Вольдемар?

Инженер долго и пристально смотрел на покрытое пледом тело, распростертое перед ним на полу. Под влиянием странного представления он понизил голос. Совсем тихо, почти шепотом, он сказал:

– Быть может, рассказывая нам про участь своего друга, он был на расстоянии какого-нибудь шага от раскрытия тайны. Он уже предчувствовал разгадку, когда уходил из комнаты, поэтому был он так взволнован, совсем вне себя – ты помнишь?

– Ну? Дальше.

– Тот молодой офицер погиб, когда натолкнулся на причину самоубийства брата. Ойген тоже разгадал тайну, быть может, в этом причина того, что он должен был умереть...

Тишину нарушил звонок у калитки. Доктор Горский открыл дверь и выглянул в сад. Мы услышали голоса.

Феликс поднял голову. Выражение лица у него изменилось. К нему вернулось хладнокровное высокомерие.

– Это полицейская комиссия, – сказал он совершенно другим тоном. – Вольдемар, ты, должно быть, сам не сознаешь, в какие фантастические области ты забрел. Нет, теориям твоим недостает самого важного – убедительности. Простите меня теперь, я хотел бы переговорить наедине с этими господами.

Он подошел к доктору Горскому и сердечно пожал ему руку.

– Спокойной ночи, доктор. Я никогда не забуду того, что вы сделали сегодня для Дины и для меня. Что бы мы стали делать без вас? Вы обо всем подумали, вы не потеряли головы, милый доктор.

Потом взгляд его скользнул по мне.

– Я не должен вам, думается мне, говорить, господин ротмистр, – сказал он светским тоном, – что положение вещей несколько не изменилось. Мы остаемся, надеюсь, при нашем соглашении, не так ли? Я безмолвно поклонился.

Глава 10

О том, что еще произошло в этот вечер на вилле Ойгена Бишофа, долго говорить не придется.

Проходя через сад, мы встретились с комиссией, тремя господами в штатском. У одного из них в руках были портфель и большая кожаная сумка. Глухой садовник шел впереди с фонарем. Мы посторонились, чтобы пропустить их мимо, и пожилой господин с полным лицом и седой бородкой – участковый полицейский врач, как оказалось, – остановился и обменялся несколькими словами с доктором Горским.

– Добрый вечер, коллега, – сказал он и поднес ко рту носовой платок, – осень-то какая ранняя. Вы были вызваны сюда?

– Нет. Я оказался тут случайно.

– Что, в сущности, произошло? Мы еще ничего не знаем.

– Мне не хотелось бы предварять ваши заключения, – сказал уклончиво доктор, дальнейшую их беседу я не слышал, так как пошел дальше.

Никто, по-видимому, не входил в комнату, где мы играли, с той минуты, как я ушел из нее. Опрокинутый стул все еще лежал перед дверью. Мои ноты я увидел разбросанными по полу, на спинке одного из стульев висела шаль Дины.

Сквозь открытое окно врывался сырой и холодный ветер ночи; я застегнулся, чувствуя озноб. Подбирая с пола нотные листы, я заметил один из них с надписью: *Trio H-dur, op. 8*. И почудилось мне, словно мы только что доиграли скерцо. Заключительные аккорды рояля и певучий последний тон виолончели звучали у меня в ушах. Я дал обольстить себя приятной грезе, будто все мы сидим еще за чайным столом, ничего не случилось, инженер пускает в воздух сизые табачные кольца, со стороны рояля доносится мерное дыхание Дины, Ойген Бишоф медленно ходит взад и вперед, и тень его бесшумно скользит по ковру.

Вдруг захлопнулась где-то дверь, и я вздрогнул. Я услышал в прихожей громкие голоса, раздалось мое имя. Это были инженер и

доктор, они, по-видимому, думали, что я давно уехал домой.

– Все, – говорил доктор очень решительным тоном. – Любое насилие, любое вероломство, любое... о боже, как поздно! Даже на убийство я считаю его способным, оно было в его жизни не первым. Но злоупотребление честным словом? Нет, ни за что не поверю.

– Оно было бы не первым? – спросил инженер. – Что вы хотите этим сказать?

– О боже, он кавалерийский офицер! Уж не прикажете ли вы мне здесь, на сквозном ветру, излагать вам свои взгляды на дуэль? Он может быть беспощаден до степени зверства, об этом я мог бы кое-что рассказать... Вот ваше пальто... Он любит животных, скаковых лошадей, собак, да, но жизнь человека, стоящего у него на пути, не имеет в глазах его никакой цены, поверьте мне.

– Мне кажется, доктор, вы судите о нем совершенно неверно. Впечатления...

– Послушайте, я знаю его... Пойдите-ка... Пятнадцать лет я знаю его.

– Но ведь и я немного знаю толк в людях. Впечатления грубого насильника он, право же, на меня не произвел. Напротив, он показался мне человеком чувствительным, живущим только своею музыкой, втайне застенчивым.

– Мой милый инженер, кого из нас можно определить такими простыми прилагательными? Ими нельзя очертить характер человека. Это совсем не такая простая штука, как наша там какая-нибудь обкладка конденсатора, заряженная либо положительно, либо отрицательно. Чувствительный, чрезвычайно впечатлительный, это тоже правда, но рядом с этим есть еще место для многого другого, можете мне поверить!

Я стоял, согнувшись, с нотным листом в руке и не решался пошевелинуться, потому что дверь была приоткрыта и малейшее движение могло бы выдать мое присутствие. Вся эта беседа не интересовала меня, и я мечтал только о том, чтобы они оба вышли наконец из виллы, так как мне тягостно было подслушивать их разговор. Но они продолжали говорить, и я не мог их не слушать.

– Но злоупотребление честным словом – нет, на это он неспособен, – сказал доктор. – Существуют, видите ли, внутренние законы этики, которых никогда не нарушает даже самый отъявленный

циник. Каста, происхождение, традиции – нет, если такой барон фон Пош дает честное слово, то он не лжет. Феликс ошибается.

– Феликс ошибается, – повторил инженер. – Это было мне ясно с первого мгновения. Мы находим старый след, и вместо того, чтобы идти по этому следу туда, где он становится виден в первый раз, вместо того, чтобы поступить самым простым и естественным образом... Какое отношение, черт возьми, может иметь барон к самоубийству ученика академии? Должен же был Феликс задать себе такой вопрос!.. Ойген Бишоф мертв, я все еще не могу освоиться с этой мыслью!.. Мы выясним, доктор, это дело, такова наша задача. Хотите вы мне помочь?

– Помочь? Но что же мы можем сделать, как не предоставить события их естественному ходу?

– Вот как? Предоставить события их естественному ходу? – воскликнул инженер громко и взволнованно. – Нет, доктор, так я никогда в жизни не поступал. Из всех личин косности эта личина была мне всегда самой ненавистной. Предоставить события их естественному ходу – это значит признать: я слишком глуп, слишком ленив или слишком бессердечен...

– Благодарю вас, – сказал доктор Горский. – Вы в самом деле знаток людей.

– Пожалуй. Вот этот, например, барон, которого вы считаете беспощадным насильником без удержу и без совести, мне представляется одним из высокомерных, холеных, умственно не слишком подвижных аристократов, которые только кажутся людьми опасными, а на деле совершенно беспомощными, когда сами оказываются в опасности. Мы должны о нем подумать, доктор. Неужели вы хотите его предоставить собственной участи? Если события пойдут своим ходом, они неминуемо обратятся против него, а конец – это пуля, подумайте об этом. Неужели, доктор, не достаточно жертв?

Доктор Горский не ответил. В течение минуты я слышал какую-то возню, что-то упало с шумом на пол, потом донеслось сердитое ворчание, перешедшее в ругань.

– Что вы ищете? – спросил инженер.

– Свою палку. Куда я поставил ее? Она совсем не моя, это лучше всего. Я взял ее у моего слуги. Опять у меня ревматизм разыгрался.

Пистиан, давно мне следует съездить в Пистиан. Коричневая палка с толстым роговым набалдашником, вы ее нигде не видели?

Я испугался, потому что у стены, рядом с камином, стояла коричневая палка с роговым набалдашником.

Я надеялся, что они оба уйдут из дому, не заметив меня. От надежды этой мне пришлось отказаться, потому что нельзя было сомневаться, что доктор начнет искать свою палку по всем комнатам. Надо было предупредить его.

Я выпрямился и небрежно бросил ноты на стол. Потом подошел к роялю и шумно захлопнул крышку скрипичного футляра. Надо было дать им обоим знать, что я здесь и что мне слышно было каждое слово их неосторожно громкой беседы.

Сердитое ворчание доктора Горского сразу оборвалось, я только слышал тиканье стоячих часов, оба, должно быть, смотрели друг на друга ошарашенные. Я рисовал себе их оторопелые и смущенные лица, и образ доктора, остолбеневшего гнома в пальто и калошах, живо стоял у меня перед глазами.

Наконец дар речи вернулся к ним. Послышался взволнованный шепот, и затем я услышал шаги – твердые и энергичные шаги инженера.

Очень спокойно пошел я ему навстречу, положение было ему, несомненно, гораздо неприятнее, чем мне. Я собирался открыть дверь... В этот миг около меня зазвонил телефон.

Совершенно машинально взял я трубку. Что этот вызов не мог относиться ко мне, я сообразил позже.

– Алло?

– Кто у телефона? – прозвучало из мембраны.

Мне был знаком этот голос, у меня сразу же возникло ощущение, что я говорю с очень молоденькой барышней, и с этим представлением было связано воспоминание о каком-то странном аромате, о запахе эфира или эфирного масла – в течение секунды я вспоминал, где слышал уже этот голос.

Дама у телефона начинала терять терпение.

– Кто говорит? – повторила она раздраженным тоном, и я растерялся, потому что дверь распахнулась и на пороге появился инженер в пальто, со шляпой в руке. Он смотрел на меня вопросительно.

– Говорят с виллы Бишоф, – сказал я наконец.

– Да ведь вот она, моя палка, – пробурчал, обрадовавшись, доктор Горский.

Он вошел вслед за инженером, стоял в комнате и потирал себе ногу.

– Господин профессор дома? – спросила дама.

– Господин профессор? – Я не имел представления, о ком идет речь. «Неправильное соединение», – подумал я и вспомнил: Дина жаловалась как-то, что ее номер всегда путают с номером какого-то окулиста.

– Опять уж эта боль, – стонал доктор. – Несколько недель серных ванн, это было бы лучше всего. Но, поверите ли, даже этого не мог я себе позволить этим летом.

– Вам с кем угодно говорить? – спросил я.

– С господином профессором Бишофом, Ойгеном Бишофом, – послышалось из аппарата.

Тут только вспомнил я, что Ойген Бишоф состоял также преподавателем в академии пластических искусств. Как мог я этого сразу не сообразить! «Очевидно, одна из его учениц», – сказал я себе, но почему тембр этого голоса будил во мне воспоминание о запахе эфира, этого я не мог объяснить.

– С господином профессором нельзя говорить, – сказал я в телефон.

– Идем же, наконец, – торопил доктор Горский инженера, – долго ли мне еще стоять с моим ревматизмом на этом сквозняке?

– Тише! – шепнул ему инженер. – Вешалка, падая, ударила вас по коленке, вот и весь ваш ревматизм.

– Что за вздор? – воскликнул, негодуя, доктор Горский. – Что вы мелете? Я ведь, кажется, знаю, что такое мышечная боль.

– Нельзя говорить? Мне тоже? – спросила дама очень самоуверенным тоном. Назвать себя она считала, по-видимому, совершенно излишним. – Мне тоже? Он ведь ждал моего вызова.

Я был в замешательстве, и оно усугублялось тем, что доктор Горский не переставал говорить. Что нужно было мне ответить ей?

– Боюсь, что с профессором никому нельзя говорить, – сказал я в трубку, и мне привиделся шотландский плед и бледное лицо,

прикрытое им, я почувствовал, как у меня мороз пробежал по спине и руки задрожали.

– Никому? – раздался из аппарата возглас изумления и отчаяния. – Но ведь он ждет моего вызова!

– Посмотрите-ка, мне кажется, дождь опять пошел, – сказал доктор. – Это яд для меня. Найду ли я фиакр? Наверное, не найду, это я заранее знаю.

– Замолчите же, наконец, черт возьми! – накинулся на него инженер.

– Что это значит? Не случилось ли несчастья? – крикнула незнакомка.

– В боку и в спине. Боль ползет вверх. Вот тебе и удовольствие! – прошептал доктор Горский, совсем запуганный, и затем замолчал.

– Что случилось? Говорите же! – настойчиво повторила дама.

– Ничего! Решительно ничего!

И как молния пронизал меня вопрос: откуда она знает?.. Откуда может она знать?.. Нет, от меня это никто не должен узнать, только Феликс вправе...

– Ничего не случилось, – сказал я и постарался придать своему голосу спокойную интонацию, но стеклянные глаза на бледном, искаженном лице не исчезали, не хотели исчезнуть. – Господин профессор уединился для работы, вот и все.

– Для работы? Ах, конечно, новая роль! А я подумала... Боже, какая глупая мысль!.. Я боялась...

Она тихо засмеялась про себя. Потом опять заговорила прежним самоуверенным тоном:

– Я не стану, разумеется, беспокоить господина профессора. Можно попросить вас... С кем я имею удовольствие говорить?

– Барон фон Пош.

– Не знаю такого, – прозвучала очень уверенная реплика, и опять у меня возникло такое чувство, будто этот голос я слышал уже не раз, но когда и где, этого я все еще не мог припомнить. – Будьте добры передать господину профессору – он еще сегодня днем должен был приехать ко мне, но в полдень вдруг отменил визит, – так передайте ему, пожалуйста, что я жду его завтра к себе в одиннадцать часов утра. Скажите ему, что все приготовлено и что я вторично откладывать это дело не намерена, если у него опять не будет времени.

– От чьего имени должен я это все передать? – спросил я.

– Скажите ему, – голос звучал на этот раз очень немилостиво, как у избалованного ребенка, когда что-нибудь делается не по его желанию, – скажите профессору, что я ни при каких обстоятельствах не стану дольше ждать Страшного суда. Этого будет с него достаточно.

– Страшного суда? – спросил я удивленно, ощутив какой-то легкий трепет, причины которого не мог себе уяснить.

– Да. Страшного суда, – повторила она с ударением. – Так и передайте, пожалуйста. Благодарю вас.

Я слышал, как она дала отбой, и опустил трубку. В тот же миг меня кто-то ухватил за плечо. Я повернул голову, инженер стоял со мною рядом, вытаращив на меня глаза.

– Что... что вы сказали? – лепетал он. – Что вы только что сказали?

– Я?.. Дама, дама у телефона... Она дольше не хочет ждать Страшного суда.

Он выпустил меня и схватил трубку. Шляпа его свалилась на пол. Я поднял ее и держал в руках.

– Поздно. Она дала отбой, – сказал я.

Он яростно швырнул трубку на вилку.

– С кем вы говорили? – набросился он на меня.

– С кем? Не знаю. Она не хотела назвать себя. Но ее голос показался мне знакомым. Это все, что я могу сказать.

– Вспомните! Ради Создателя, вспомните же! – закричал он. – Я хочу знать, с кем вы говорили. Вы должны вспомнить! Слышите? Вы должны вспомнить!

Я пожал плечами.

– Если хотите, – сказал я, – я вызову станцию. Может быть, мне скажут, с кем я был соединен.

– Это совершенно безнадежно, не трудитесь. Лучше постарайтесь припомнить!.. Она вызывала Ойгена Бишофа? Чего она хотела от него?

Я повторил ему дословно разговор.

– Вы это тоже находите странным? – спросил я в заключение. – Страшный суд! Что могло бы это значить?

– Не знаю, – сказал он, тупо глядя в пространство. – Знаю только, что это были последние слова Ойгена Бишофа.

Молча стояли мы друг против друга.

Ничто не шевелилось в комнате, было слышно только тиканье часов, больше – ни звука, пока наконец доктор Горский, выглянув в сад, не захлопнул окна.

– Слава богу, дождь уже прошел, – сказал он и подошел к нам.

– Какое мне дело, идет ли дождь или не идет! – закричал инженер в припадке внезапной ярости. – Разве вы не понимаете? Жизнь человека в опасности!

– Вы совершенно напрасно тревожитесь из-за меня, – сказал я, чтобы его успокоить. – Право же, я не так беспомощен, как вы думаете, и кроме того...

Он посмотрел на меня совершенно безумным взглядом, потом увидел свою шляпу и взял ее у меня из рук.

– Речь идет не о вашей жизни, – пробормотал он. – Нет, не о вашей.

Потом он вышел. Безмолвно, как лунатик, вышел он из комнаты и спустился по лестнице со смятой шляпой в руке, не попрощавшись, не обратив внимания ни на меня, ни на доктора Горского.

Глава 11

На людей, встречавшихся мне по пути, я производил, должно быть, впечатление полоумного, внезапно выбитого из своей колеи человека, когда я в этот вечер шел домой по ярко освещенным улицам, взволнованный, без шляпы и со свежей рваной раной на лбу. Когда и где получил я ранение, так и осталось для меня невыясненным. Вернее всего, когда я в павильоне на несколько секунд потерял сознание – это был только легкий приступ слабости, и он скоро прошел, – я ударился лбом о какой-то твердый предмет, о спинку стула или край письменного стола. Я помню ясно, что вскоре после этого почувствовал острую и сверлящую боль над правым глазом, но не обратил на нее особенного внимания, да и прошла она скоро. Идя по улице, я все еще не знал об этой ране, и удивленные взгляды прохожих вызывали во мне странное ощущение.

Мне казалось, будто уже весь город знает о том, что произошло на вилле Бишоф. Весь город принимал участие в событии, весь город знал меня и видел во мне убийцу. «Как это ты не арестован?» – спрашивал изумленный взгляд студента, вышедшего на улицу из ночного кафе. Испугавшись, я ускорил шаг и встретил двух девушек, стоявших перед воротами и ждавших, чтобы открыли калитку, двух сестер, и одна из них, с веткой рябины в руке, узнала меня, в этом не было сомнения. «Вот он», – прошептала она, и я видел, как она с выражением негодования и гадливости отвернулась в сторону. У нее было бледное лицо, и под широкими полями ее летней шляпы отливали рыжеватым блеском волосы.

Потом приблизился пожилой господин, руки у которого нервно подергивались. Он остановился и скорбно взглянул на меня, даже как будто собирался заговорить со мною. «Как могли вы вогнать в смерть этого несчастного человека? Как могли вы?» – хотел он, казалось, сказать. «Черт побери, довольно с меня!» – подумал я, и заметив, что я готов при первом же его слове схватить его за горло, он испугался и ушел...

Но затем произошло нечто, окончательно лишившее меня самообладания.

Навстречу мне бесшумно ехал велосипедист, рослый, мускулистый человек с голыми руками; он похож был на пекаря в своей фуфайке. Соскочив с велосипеда, он пристально посмотрел на меня. «Этот ищет меня, этот гонится за мной», – промелькнуло у меня в голове, и я пустился бежать, задыхаясь, мчался я по улице, мчался все дальше и остановился в каком-то темном переулке, далеко от своего пути, с трудом переводя дыхание. Только тогда сознание вернулось ко мне.

«Что это было? – спрашивал я себя со стыдом и страхом. – От кого я бежал? Разве мог весь город прийти в волнение от того, что кто-то там застрелился? Что за сумасшествие! Как мог я в глазах чужих и безучастных людей, случайно мне встретившихся, – как мог я в их лицах читать нелепое обвинение Феликса!» Бредовое видение испугало меня. Чужие люди, никого из них я раньше не видел... «Довольно. Домой!» – гневно прошептал я про себя. Это нервы. Мне надо принять бром. Да, слишком много пришлось перенести за один день... Чего я боюсь? В том, что произошло, я ведь ничуть не повинен. Я не мог помешать, никто не мог этому помешать, ничьих взглядов мне не приходится опасаться. Я могу спокойно продолжать свой путь, могу смотреть людям прямо в лицо, так же прямо, как вчера, как во все дни моей жизни.

И все же... какое-то чувство заставляло меня обходить людей, шедших мне навстречу. Я обходил яркие световые пятна газовых фонарей, я искал сумрака и вздрагивал, когда за мною раздавались шаги. На темном перекрестке я услышал шум медленно катившегося фиакра. Я остановил его, и заспанный кучер отвез меня домой.

Когда я открывал дверь в свою квартиру, мое решение сложилось окончательно: я решил уехать.

– Нервы у меня совсем развинтились, – сказал я вполголоса, пять или шесть раз повторил я эту фразу и, поймав себя на этом, испугался. – Прочь отсюда, да! Но не на юг, нет, не в Ниццу, не в Рапалло и не на Лидо... – В Богемии у меня было поместье, доставшееся мне по наследству от рано умершего родственника с материнской стороны. В этой старой усадьбе я провел в молодости несколько лет и всякий раз, просматривая сообщения, предложения и счета своего управляющего, вспоминал о тех минувших светлых днях. Со времени моего детства я посетил это имение один только раз. Пять

лет тому назад я в течение недели охотился на диких коз в Хрудимских лесах.

Туда меня теперь потянуло. Там нашел бы я покой и одиночество, в которых испытывал теперь потребность как никогда. Что мое исчезновение может быть ложно истолковано в городе, что оно может быть понято как бегство, как доказательство вины, как отчаянная попытка вырваться из сети непровержимых улик, – об этом я в ту минуту не думал. Я хотел уехать из города, вот и все. И я представлял себе, как проведу следующие недели: долгие прогулки по бесконечным еловым лесам; дружба с косматым старым охотничьим псом; отдых у пруда, где я ребенком в поисках морских чудищ ловил водяных хрущей, саламандр и пиявок; воскресный обед в деревенской гостинице в обществе молчаливых чешских крестьян и чиновников лесного ведомства, играющих в карты; а вечером, перед сном, часок чтения в кресле перед камином, где ярко горят дрова, за бутылкой красного вина и с трубкою в зубах.

Такою рисовалась мне жизнь ближайших дней, и не успел этот план сложиться, как меня уже повлекло сейчас же его осуществить. Я дрожал от нетерпения, мне хотелось уже теперь, уже в этот миг сидеть в поезде. Я расхаживал по комнате, и привычная мне картина, письменный стол, пестрые гобелены на окнах, албанская пищаль и зеленый шелковый коврик на стене – все это стало мне ненавистно и невыносимо.

Охватившая меня лихорадка нетерпения не давала мне сидеть в праздности. И чтобы упрочить решение в самом себе, чтобы заняться чем-нибудь, что могло бы меня приблизить к исполнению моего плана, я достал, как будто нельзя было терять время, оба своих чемодана и принялся укладывать. Несмотря на бушевавшую во мне тревогу, я действовал методически, думал обо всем, слуга мой Винцент – и тот не уложил бы вещей так. Не позабыл я даже маленький карманный компас и немецко-чешский словарь, который был куплен мною еще пять лет тому назад, перед моей поездкой в Богемию. Когда я кончил работу – в комнате навалены были в кучу книги, платье, кожаные гамашаи и белье, которых я не брал с собою, – когда чемоданы были заперты, я стал соображать, какими спешными делами нужно мне еще заняться перед отъездом. Прежде всего надо отправиться в банк за деньгами. Затем – беседа с моим адвокатом, которого я собирался

пригласить к себе. Отпуск? Срок моего отпуска еще не истек. На среду у меня назначена встреча с друзьями в оперном ресторане, от нее нужно отделаться. Далее надо послать телеграмму управляющему, чтобы на станцию были высланы лошади, и заплатить один карточный долг и по нескольким счетам – я хотел оставить здесь в полном порядке все свои дела. Несколько покупок в городе... Не забыть еще про турнир в фехтовальном клубе, я записан участником и должен своевременно отказаться, это можно, пожалуй, сделать запиской на имя секретаря клуба.

Это было все, что мне покамест пришло в голову, я записал все эти вещи для памяти и положил листок на письменный стол под пресс-папье. Тревога моя немного улеглась. Все, что можно было сделать в этот поздний час для ускорения отъезда, было сделано. Два часа и пять минут ночи. Пора спать.

Но я все еще был настолько взволнован, что не мог заснуть. Некоторое время я лежал с закрытыми глазами, но не чувствовал ни следа усталости; с мучительной ясностью скрещивалось множество жутких образов в моем слишком возбужденном мозгу. Потом я вспомнил о снотворном средстве, приготовленном на моем ночном столике. В коробочке оставались еще только две таблетки брома, и я принял их обе.

Не забыть еще купить брома, или морфия, или веронала; какой-нибудь наркоз, вероятно, будет мне часто еще нужен в ближайшие дни – говорил я себе и тут же вскочил и принялся взволнованно искать рецепт, сначала в бумажнике, потом во всех ящиках письменного стола, в углах комодов и шкапов, наконец, в карманах моего костюма, но так и не мог его найти.

«Это ничего, – успокаивал я себя. – Мне не нужно рецепта. В аптеке на моей улице меня знают, и аптекарь кланяется мне, когда я прохожу мимо. Немного брома я там и без рецепта могу получить. Бром! Не забыть об этом, иначе я завтра не засну в вагоне».

Я взял со стола листок с заметками на завтрашний день. И в то мгновение, когда я записывал слово «бром», мне вдруг припомнился голос, доносившийся из телефона, голос женщины, не желавшей ждать Страшного суда. Как он странно звучал! И в то же время я вспомнил слова инженера: «Вспомните! Ради Создателя, вспомните! Вы должны вспомнить!» Да, я должен был вспомнить, теперь нельзя было заснуть,

мне нужно было припомнить сначала, отчего мне знаком этот голос. Теперь мне было ясно, что незнакомка владеет ключом от тайны, она в состоянии нам объяснить, почему Ойген Бишоф покинул этот мир, она это знает, я должен ее найти, должен с нею переговорить...

Я лежал в постели, прижимая руки к вискам, и рылся в своих воспоминаниях. Пытался еще раз вызвать в памяти тембр этого голоса, но это мне не удавалось. Усталость овладела мною. Снотворное средство начало действовать. Чувство покоя поднималось во мне; все, что произошло, казалось мне теперь нереальным и до странности незначительным, игрою тени на стене. Я еще бодрствовал, но уже чувствовал легкую ласку сна. Отрывочные слова, лишённые смысла, раздавались у меня в ушах, предвестники сновидений. «Все еще дождь», – сказал чей-то голос, и другие голоса к нему примешались, и я очнулся и был один. По комнате прожужжала муха. Внизу мимо проходил человек по улице и ударил палкой по плитам тротуара раз, два, три раза. Я слышал это, но мне в то же время чудилось, будто где-то вдали дятел долбит кору. Еловый лес шумел, порыв сырого ветра опухнул мне лицо, издали донесся крик птицы, еще раз попытался я открыть глаза, и затем этот день окончился.

Глава 12

Винцент, стоя с завтраком перед моей постелью, разбудил меня. В комнате было темно. Я видел его силуэт и тусклое мерцание серебряного молочника. Он что-то говорил, но я не понимал его слов. Все еще боролся я с пробуждением, как-то смутно боялся встать и начать этот день.

– Который час? – спросил я с трудом и, вероятно, сейчас же опять заснул, но ненадолго, только на несколько секунд, быть может, потому, что, когда я открыл глаза, Винцент еще стоял перед кроватью.

– Девять часов, господин ротмистр, – услышал я его ответ.

– Не может быть, – сказал я и закрыл глаза, – тут ведь темно, как ночью.

Послышались скользящие шаги по ковру и легкий звон посуды. Потом на окнах взвились шторы. Дневной свет проник в комнату, от его яркости стало больно лицу.

– Если господин ротмистр уезжать собрались, то пора вставать, – сказал Винцент, стоя у окна.

– Уезжать? Куда? Зачем? – спросил я, еще не совсем проснувшись, и попытался собраться с мыслями, но мог только вспомнить, что ночью упаковал оба чемодана. – Есть еще время. Ты отвезешь мне чемоданы на вокзал.

– На Южный?

Прошло некоторое время, прежде чем я вспомнил о цели своего путешествия.

– Нет, я еду в Хрудим, – сказал я. – Опустите шторы, я еще посплю немного.

– Господи! – крикнул вдруг Винцент. – Какой у вас вид, господин ротмистр!

Я все еще не совсем пришел в себя.

– Что случилось? – спросил я в досаде и присел на постели.

– На лбу! Прямо над правым глазом! Где это, господин ротмистр, вы так ударились?

Я ощупал пальцами лоб.

– Покажи-ка! – сказал я, и Винцент принес мне зеркало. Я с удивлением увидел рану с запекшейся кровью и не мог объяснить себе ее происхождение.

– Вчера на лестнице опять было темно, – сказал я затем только, чтобы больше об этом не думать. – Эдакие негодяи! Теперь ступай и дай мне спать.

– А что мне сказать этому господину? Он ждет ответа и говорит, что дело очень спешное.

– Какому господину, черт возьми?

– Я уже докладывал господину ротмистру. В соседней комнате ждет господин. Он сюда еще ни разу не приходил. Высокий, белокурый. Говорит, что непременно должен переговорить с господином ротмистром, и так удобно уселся за письменным столом, словно у себя дома.

– Назвал он себя?

– Карточка лежит на сахарнице.

Я взял карточку и прочитал: «Вольдемар Сольгруб». Два-три раза прочитал я это имя, и потом только припомнились мне события минувшего дня. Жуткое чувство охватило меня. Что нужно от меня инженеру так рано утром? Его визит не предвещает, конечно, ничего хорошего. Я стал думать, не сослаться ли мне на нездоровье или просто не передать ли, что принять его не могу. Я хотел быть один, никого не видеть, ничего не знать.

Но только в первое мгновение промелькнули у меня эти мысли, и я их отогнал.

– Я позавтракаю позже, – сказал я слуге. – А господина этого попроси еще немного подождать. Через пять минут я буду к его услугам.

Когда я вошел в комнату, инженер сидел за моим письменным столом. Он казался усталым и невыспавшимся, это было первое впечатление. Перед ним лежало в пепельнице пять или шесть окурков; поджидая меня, он, по-видимому, безостановочно курил. Обеими руками он подпирал голову и глядел в пространство каким-то странным, стеклянным взглядом. Нижняя губа у него была слегка искривлена, словно он боролся с физической болью. Но едва лишь он заметил мое присутствие, это выражение исчезло. Он встал и подошел ко мне. В глазах у него читалось напряженное ожидание.

– Простите, что я распорядился вас разбудить, – заговорил он. – Но, право же, я дольше ждать не мог.

– Помилуйте, я вам за это признателен, – сказал я. – Я заспался, этого со мной обыкновенно не бывает... Чашку чаю разрешите?..

– Нет, благодарю вас, чаю не хочу. Вот от рюмки коньяку не откажусь... Спасибо, достаточно. Ну-с, вы знаете, зачем я пришел?

– Я полагаю, что вас прислал ко мне Феликс, – ответил я. – Со вчерашнего дня произошло что-нибудь новое?

– Еще нет. Покамест нет, – пробормотал инженер, и глаза у него сделались опять стеклянными.

– В таком случае я в самом деле не догадываюсь.

– Боюсь, что я действительно напрасно пришел, – сказал он. Он сидел, наклонившись вперед, и смотрел в сторону совершенно бессмысленным взглядом. – Я вообразил себе, что вы сможете мне сказать, с кем говорили вы вчера вечером по телефону об Ойгене Бишофе, вы помните? Больше вы не думали о том, кто бы могла быть эта дама?

– Думал, – сказал я порывисто и не успел еще договорить это слово, как меня осенило своего рода наитие, я внезапно пришел к заключению, показавшемуся мне необходимым и убедительным. – Я думал и пришел вот к какому выводу. Дама, с которою я говорил, может быть только актрисой. Я полагаю, что знаю ее по сцене, потому что с Ойгеном Бишофом у меня было мало общих знакомых. Но когда и в какой пьесе я видел ее, этого я, к сожалению, припомнить не мог.

– Благодарю вас, – выпалил инженер и устремил совершенно равнодушный взгляд на стенной зеленый коврик.

– Думаю, что я еще вспомню ее фамилию, – продолжал я, помолчав, – мне нужно для этого известное время. Мне придется перебрать в памяти не слишком много имен, я за последнее время не очень часто бывал в театрах.

Инженер сидел против меня безучастно, подпирая голову рукою. Он все еще не говорил ни слова, и его молчание невыразимо тяготило меня.

– Если бы мы могли встретиться после обеда, – предложил я, – скажем, в пять часов – такой срок должны вы мне дать, – то я уверен, что до тех пор...

Он прервал мои слова движением руки.

– Нет, не трудитесь, – сказал он – и затем, протянув руку к бутылке с коньяком, принялся пить рюмку за рюмкой, как помешанный.

– В пять часов дня, говорите вы? – продолжал он после седьмой рюмки. – В пять часов дня я буду знать, с кем вы вчера говорили, в этом не приходится сомневаться, судя по тому, как обстоят дела.

– В самом деле? – воскликнул я с изумлением и недоверием. – Разве у вас есть какая-нибудь отправная точка? Откровенно говоря, я не могу себе представить, каким образом...

– Можете на меня положиться. Я знаю, что говорю, – пробормотал инженер и опрокинул восьмую рюмку, девятую и десятую; он, казалось, привык пить коньяк стаканами.

– Было бы, конечно, чрезвычайно важно узнать, кто эта дама, – сказал я. – Я думаю, нам придется расспросить кое о чем прежде всего...

Он покачал головою.

– Я не думаю, что мы получим от нее какие-либо разъяснения, – сказал он и затем опять ушел в тупое молчание.

Прошло несколько минут. Мы молча сидели друг перед другом. В моей спальне Винцент по своей привычке вполголоса разговаривал сам с собою, по временам приостанавливался и насвистывал припев какой-то солдатской песни. Сквозь открытое окно глухо доносился уличный шум, от грохота катившегося мимо грузовика тихо дребезжали рюмки с коньяком и серебряный молочник... Я увидел на столе листок со вчерашними моими заметками и спрятал его.

Вдруг инженер встал. Несколько раз прошелся по комнате энергичными шагами. Перед моими чемоданами он остановился.

– Итак, это дело кончено, – сказал он совершенно другим тоном. – Простите, что нарушил ваш сон. Это было совершенно излишне... Вы собираетесь уехать, как я вижу...

– Да, в Богемию. У меня есть маленькое поместье близ Хрудима... Не угодно ли еще рюмку коньяку?.. Мой поезд идет в семь часов вечера.

– Разрешите узнать, чем вызван ваш экстренный отъезд?

– Я еду охотиться на красного зверя.

– Вы думаете, дикие козы ваших лесов будут несдержанны, если вы заставите себя ждать несколько дней?.. Шутки в сторону, барон, –

не отложите ли вы свою поездку?

– Я, право, не понимаю, что должно меня от нее удерживать.

– Не выходите сразу из себя, – сказал инженер и, подняв голову, посмотрел мне в лицо. – Позвольте мне разок поговорить с вами совершенно откровенно... Я был сегодня ночью в скаковом клубе... Я о вас беседовал с некоторыми вашими добрыми друзьями, вы были предметом довольно оживленных дебатов. Нет, вы не тот, каким показались мне вначале, не артист в душе, не эстет. Ваше имя упоминалось не иначе как в оригинальном тоне почтительной ненависти. Говорят, что при некоторых обстоятельствах вам доводилось обнаруживать известную, ну, скажем, широту взглядов в выборе средств. Кто-то назвал вас вчера великолепной бестией... Сидите, пожалуйста, спокойно! За что купил, за то и продаю и никакого не имею намерения вас обидеть... Вы собираетесь уехать в свое имение стрелять диких коз. Ладно. Я понимаю. Но к чему это? В смерти Ойгена Бишофа вы невиновны, не можете быть виновны. Черт побери, если только половина того, что мне о вас рассказывали, правда, то я не понимаю, почему вы как раз в этом случае не бережете своей шкуры, почему вы покорно исполняете приказ моего друга Феликса...

– А я, господин инженер, не понимаю, какое это все... какое имеет отношение Феликс к моей маленькой экскурсии.

– Вы желаете в прятки со мной играть? – спросил инженер и посмотрел на меня серьезно и внимательно. – К чему? Не предавайтесь, пожалуйста, никаким иллюзиям: никто из ваших знакомых не преминет констатировать, что вы мастер стильных инсценировок, если даже в газетных сообщениях о несчастье, случившемся с вами на охоте, не будет особо подчеркнуто это ваше дарование.

Я несколько секунд соображал, прежде чем понял его мысль. Я встал, так как не имел охоты продолжать этот разговор. Инженер встал тоже. По блеску в его глазах, по пылавшим щекам, по размашистым движениям рук я видел, что алкоголь начинает на него действовать.

– Вмешиваться в чужие дела всегда невыгодно, – продолжал он возбужденным тоном. – Тем не менее я предлагаю вам отложить свой отъезд на два дня. Я не отрицаю, что вы находитесь в зависимом положении. Но что скажете вы, если я обещаю вам не позже чем в

сорок восемь часов сообщить вам и Феликсу, кто был убийца Ойгена Бишофа!

Его слова не произвели на меня впечатления, я не отнесся к ним серьезно, я был уверен, что он расхвастался только под влиянием алкоголя. Его самоуверенный тон привел меня в раздражение, и я готовился дать ему резкий отпор. Но вдруг мне пришло на ум, что он, пожалуй, мог узнать какие-нибудь новые обстоятельства, какую-нибудь частность, ускользнувшую от моего внимания. Не знаю почему, но внезапно я проникся уверенностью, что он знает больше меня об этом деле. Мне показалось весьма вероятным, что он нашел в павильоне какие-то следы и сделал из них вывод относительно личности того незнакомого посетителя, которого он называл убийцей.

– Отпечатки пальцев? – спросил я.

Он взглянул на меня с видом полного недоумения и не ответил.

– Не нашлись ли в павильоне отпечатки пальцев убийцы?

Он покачал головой.

– Нет, никаких там не нашлось отпечатков, – сказал он. – Знайте, что убийца вообще никогда не посещал виллы. Ойген Бишоф оставался все время один в павильоне.

– Но вчера вы говорили...

– Я ошибался. Никого у него не было. Дважды выстрелив из револьвера, он исполнял приказ, находился под давлением чужой воли – так рисуется мне сегодня это событие. Убийца не был у него ни в роковое мгновение, ни раньше, так как мне известно, что он многие годы не выходит из дому...

– Кто? – воскликнул я в изумлении.

– Убийца.

– Вы его знаете?

– Нет, не знаю. Но у меня есть основание предполагать, что он итальянец и почти не понимает по-немецки и что он, как я уже сказал, не выходил из своей квартиры много лет.

– Как вы это узнали?

– Урод, – продолжал инженер, не обращая внимания на мой вопрос, – своего рода чудовище, человек необычайной тучности, вероятно, патологической, и вследствие этого осужденный на полную неподвижность. Так выглядит убийца. И эта гнусная тварь оказывает совершенно необычайное притягательное воздействие по

преимуществу на артистов, вот что замечательно. Один был художником, другой – актером – обратили вы на это внимание?

– Но как вы узнали, что убийца уродлив?

– Чудовищно безобразен. Человеческий выродок, – повторил инженер. – Как я это узнал? Вы меня, вероятно, теперь считаете невесть каким пронизательным человеком. В действительности мне просто повезло немного в моих розысках.

Он приутих и стал внимательно разглядывать резьбу кресла перед моим письменным столом.

– Стулья в стиле Бидермайера особенно ломки, не правда ли? – спросил он. – Тут у вас мебель Бидермайера. Чиппендейл? Вот именно. Доктор Левенфельд присутствовал при телефонном разговоре, который Ойген Бишоф вел из конторы придворных театров с какою-то дамой, быть может, с тою, которая вчера вызывала его... Знаете вы доктора Левенфельда?

– Секретаря конторы?

– Драматурга, секретаря или режиссера – не знаю, какова его роль в театре. Я встретил его сегодня утром, и он рассказал мне... Постойте-ка.

Инженер достал из жилетного кармана трамвайный билет, на оборотной стороне которого нацарапал заметки.

– Доктор Левенфельд точно помнит содержание разговора, – продолжал он. – Послушайте, что сказал Ойген Бишоф в телефон. «Привезти его? Невозможно, уважаемая! Ваша мебель Бидермайера, право же, не рассчитана на его вес. И к тому же в доме нет лифта, как мне втащить его по лестнице?» Это все. Дальше шли обычные фразы, которыми кончают телефонный разговор.

Он тщательно сложил билет и взглянул на меня вопросительно.

– Ну? – спросил он. – Как смотрите вы на это дело?

– Я нахожу слишком рискованным делать столь широкие умозаключения из этих немногих слов, – ответил я. – Разве вы знаете, что тот, о ком шла речь, действительно убийца?

– А то кто же? – воскликнул инженер. – Нет, человек, который не может выйти из своей квартиры, потому что в доме нет лифта, – убийца, в этом я уверен. Теперь я знаю, какова его внешность: патологически тучный урод, быть может, парализованный, – вы думаете, его будет очень трудно найти?

Он принялся, расхаживая по комнате, излагать свои планы:

– Во-первых, можно запросить общество врачей, это один путь. Такой феномен не может не быть известен специалистам. Далее: люди такой полноты почти всегда страдают сердечной болезнью. Возможно, стало быть, что меня снабдит нужными сведениями какой-нибудь специалист по болезням сердца. Он итальянец, по-немецки, вероятно, не говорит ни слова, это значительно сокращает число подозрительных лиц. Но ко всем этим мерам мне, вероятно, и не придется прибегать. Надо думать, что гораздо проще удастся установить, где следует искать убийцу... Одного только я не понимаю: что повлекло Ойгена Бишофа к этому итальянцу? Разве он имел пристрастие к вырожденкам, «феноменам», к причудам природы?

– Вы точно знаете, что убийца итальянец? – спросил я.

– Сказать, что я это знаю, было бы преувеличением, – ответил инженер. – Это тоже всего лишь умозаключение, вы и его, вероятно, назовете рискованным. Все равно я попытаюсь вам объяснить свою уверенность в том, что убийца может быть только итальянцем. Говорите потом что хотите.

Он опустил в кресло, закрыл глаза и положил подбородок на скрещенные кисти рук.

– Я должен вернуться к прологу драмы, – заговорил он. – Вы помните? Тот морской офицер, о котором нам рассказывал Ойген Бишоф, разыскивал убийцу своего брата. Мы знаем, как это происходило. Однажды он опоздал к обеду, против своего обыкновения. Часом позже он покончил с собою. В этот день он нашел убийцу и говорил с ним – это вам, надеюсь, ясно?

– Конечно.

– Слушайте дальше: Ойген Бишоф тоже в последние дни приходил с большим опозданием, в первый раз – в среду, во второй – в пятницу. Ему пришлось приехать в таксомоторе, и за столом он рассказывал о предстоящих ему неприятностях, о вызове в полицию, так как шофер на «Бурггассе» налетел на прицепной вагон трамвая. В субботу он опять опоздал к обеду. Был утомлен, рассеян и неразговорчив. Дина думала, что репетиции затягиваются, но не спросила его об этом. Я установил сегодня, что репетиции все три дня кончались в обычное время. Вы видите, таким образом, что обстоятельства, предшествовавшие катастрофе, были одинаковы в

обоих случаях. Я вижу только одно различие, правда, весьма существенное... Вы знаете, о чем я говорю?

– Нет.

– Странно, что это не бросается вам в глаза. Ну так вот: каждая из жертв убийцы подпадала под влияние его чрезвычайно сильного внушения. Судя по всему, морской офицер поддался этому внушению в первый же день. Зато с Ойгеном Бишофом убийце пришлось провозиться три дня, прежде чем он ему навязал свою волю. Чем это объясняется, можете ли вы мне на это ответить? Актеры ведь, вообще говоря, народ весьма впечатлительный, со стороны же морского офицера следовало бы, казалось, ждать гораздо более сильного сопротивления. Я думал об этом и нашел только одно удовлетворительное объяснение: убийца говорит на языке, которым морской офицер владел в совершенстве, но на котором Ойген Бишоф мог изъясняться только с большим трудом. Следовательно, он итальянец, ибо итальянский – единственный из иностранных языков, который был немного знаком Ойгену Бишофу... Вы, может быть, правы, барон, это только гипотеза, и к тому же очень смелая, я согласен с этим...

– Возможно, что вы окажетесь правы, – сказал я, так как вспомнил, что Ойген Бишоф действительно имел пристрастие к Италии и ко всему итальянскому. – Ваша аргументация кажется мне вполне логичной. Вы меня почти убедили.

Инженер усмехнулся. Лицо его выражало скромное удовлетворение. Мои слова явно его обрадовали.

– Признаюсь, мне бы это никогда не пришло в голову, – продолжал я. – Честь и слава вашей проницательности. Теперь я не сомневаюсь: вам удастся раньше, чем мне, установить, кто была моя вчерашняя собеседница.

Его лоб покрылся морщинами, усмешка исчезла у него с лица.

– Для этого, боюсь я, не понадобится слишком много остроумия, – сказал он медленно.

Он поднял руки и снова их уронил, и в жесте этом сквозило отчаяние, причины которого я не понял.

Он погрузился в молчание. Уйдя в свои мысли, вынул папиросу из своего серебряного портсигара, держал ее в пальцах и забыл закурить.

– Видите ли, барон, – сказал он после паузы, – когда я тут сидел и вас поджидал, то у меня... Мне будет нелегко объяснить эту ассоциацию идей... Когда я тут сидел... Разумеется, мысли мои сосредоточены были на этой даме у телефона и ее действительно странных словах о Страшном суде, и вдруг, я не знаю отчего, вдруг я увидел пятьсот мертвецов на реке Мунхо.

Он смотрел совершенно бессмысленным взглядом на свою папиросу.

– То есть я не видел их, – продолжал он. – Я только пытался представить себе, что-то заставляло меня неустанно думать о том, как бы это было, если бы они стояли передо мною, один подле другого, пятьсот желтых искаженных лиц, и на каждом из них – отчаяние, и ожидание смерти, и укор...

Он чиркнул спичкой, но она сломалась у него в пальцах.

– Это, конечно, ребячество, вы правы, – сказал он, помолчав. – Это призрак, что значит он для современного человека? Страшный суд, пустой звук былых времен! Судилище Бога – будит ли в вас это слово какие-нибудь ощущения? Конечно, предки ваши, вероятно, падали на колени, обезумев от страха, и шептали молитвы, когда с алтаря доносились слова о Dies irae^[5]. Бароны фон Пош, – он вдруг заговорил легким тоном светской болтовни, как будто предмет беседы, хоть и не вовсе лишен был интереса, все же не имел, в сущности, значения, – бароны фон Пош происходят, не правда ли, из очень католической местности, из Пфальц-Нойбурга, не так ли? Вы удивлены, что я так обстоятельно знаком с происхождением вашей семьи, я это вижу по вашему лицу. Не думайте, что я вообще интересуюсь генеалогией баронских фамилий. Просто хочется знать, с кем имеешь дело, и я велел себе подать Готский альманах сегодня ночью, в клубе... О чем я говорил? Да... Страх я, разумеется, не испытывал, вздор, но все-таки это было очень своеобразное чувство... Коньяк – превосходное средство отделяваться от тягостных представлений.

Папироса дымилась. Он откинулся на спинку кресла и пускал в воздух сизые кольца. Я следил за ними, и в голове у меня роились разные мысли. Внезапно я нашел ключ к странному характеру инженера. Этот белокурый широкоплечий великан, этот крепкий и энергичный человек был уязвим в одном месте. Во второй раз на протяжении неполных суток говорил он со мною об этом давнем своем

переживании. Он не был пьяницей, алкоголь был для него только временным прибежищем в отчаянной борьбе, которую ему приходилось вести. Жгучее сознание вины, не желавшее зарубцеваться, преследовало его в течение ряда лет и не давало ему покоя.

Воспоминание могло свалить его с ног в одну секунду.

Часы на плите камина пробили одиннадцать. Инженер поднялся и стал прощаться.

– Итак, решено, не правда ли? Вы откладываете свой отъезд, – сказал он, протягивая мне руку.

– Почему же, господин Сольгруб? – сказал я в досаде, потому что такого слова ему не давал. – Мои намерения нисколько не изменились. Я уезжаю еще сегодня.

С ним сделался приступ ярости, лишивший его всякого самообладания.

– Вот как! – взревел он. – Ваши намерения... Черт побери, да разве у меня время краденое? Два часа бьюсь я над тем, чтобы вас образумить, и...

Я поднял глаза и посмотрел ему в лицо. Он сразу понял, что тон его непозволителен.

– Простите, – сказал он. – Я в самом деле глуп. Собственно говоря, вся эта история ничуть меня не касается.

Я проводил его до дверей. На пороге он еще раз повернулся и ударил себя рукою по лбу.

– Так и есть! Главное-то я почти забыл сказать! – воскликнул он. – Послушайте, барон, я был сегодня утром у Дины. Возможно, что я ошибаюсь, но у меня было такое впечатление, будто ей очень важно с вами переговорить.

Весть эта поразила меня, как удар обухом по голове. В первый миг я стоял ошеломленный и не был в состоянии что бы то ни было сообразить. Потом, в следующую секунду, мне пришлось выдержать дикую борьбу с самим собою. Я хотел подойти к нему, схватить его за плечи... Он был у Дины, он видел ее, говорил с нею! Я испытывал безумное желание все узнать, хорошее и дурное, спросить его, назвала ли она мое имя, какое было у нее при этом выражение лица... Таково было мое первое побуждение, но я подавил его в себе, я сохранил полное спокойствие и не отдался в его руки.

– Я письменно сообщу ей свой адрес, – сказал я и заметил, что у меня дрожит голос.

– Сделайте это! Сделайте это! – воскликнул инженер и очень дружелюбно похлопал меня по плечу. – Счастливого пути... Не опоздайте на поезд!

Глава 13

Мне нелегко объяснить, отчего я в этот день не привел в исполнение свой план уехать с ближайшим поездом. Во всяком случае, не мысль о Дине удержала меня, ибо, как я ни был в первое мгновение ошеломлен сообщением инженера, обсудив его спокойно, я уже не придавал ему значения. Можно ли было допустить, чтобы у Дины было желание свидеться со мною, с тем, кого она считала убийцею своего мужа? Я понимал, что цель инженера была удержать меня этим вымыслом от поездки, и был в ярости на себя самого оттого, что на короткий миг поддался такому оболъщению.

Причины, побудившие меня отказаться от моего решения, были отнюдь не принудительного свойства; просто у меня изменилось настроение под влиянием визита инженера. До тех пор я пребывал в полной бездеятельности. Нелепый случай поставил меня в центр происшествия, с которым я не чувствовал себя связанным решительно ничем. Меня так поразило и оглушило поворот событий, что я почти не пытался обороняться. Я совершенно ушел в себя самого, все предоставил случаю и в необъяснимом помрачении сознания испытывал только одно желание – не вспоминать о происшествиях минувшего дня.

Теперь в моем душевном состоянии произошла перемена. Разговор с инженером пробудил во мне стремление взяться лично за защиту моих интересов. Убийцу Ойгена Бишофа нужно было найти. Я не знал, где его искать: мне рисовался неповоротливый, страшный, чудовищно тучный человек, коварно, как паук, сидящий в четырех стенах и подстерегающий жертву. Мысль, что это кровожадное чудовище – не простой вымысел инженера, что оно действительно существует, быть может, совсем близко от меня, что я могу предстать перед ним и потребовать его к ответу, особенно это последнее представление, – вот что прищепило мою активность. Слишком много потерял я времени и решил отныне не терять ни минуты. Мне нужно было установить, где находился Ойген Бишоф в среду, пятницу и субботу на прошлой неделе между двенадцатью и двумя часами дня, в этом был ключ ко всему остальному. И с тем же рвением, с тем же

нетерпением, с каким я ночью собирался в дорогу, принялся я теперь за решение этой задачи.

Часы уже показывали час. Винцент накрыл на стол, но я не притронулся к еде, которую он приносил из соседнего ресторана, когда я оставался дома. Я расхаживал в нервном возбуждении по комнате, строил планы, отбрасывал их, считая их то бесцельными, то требующими слишком много времени, то неисполнимыми, обдумывал всякие возможности, каждый раз наталкиваясь на препятствия, запутывался во множестве комбинаций, становился нетерпелив и начинал сызнова и ни мгновения не сомневался, что в конце концов набреду на правильную мысль.

Она осенила меня в тот миг, когда я ждал ее меньше всего. Я стоял у открытого окна. В стеклах отражалась, в странном уменьшении, уличная суতোлка, и картина, которую она являла, запечатлелась у меня в памяти, как выгравированная. Еще и теперь она стоит передо мною: молочно-белые занавески на окнах противоположного дома, дама в старомодной шляпе, переходившая через улицу, торговка, державшая в руках большую плоскую корзину с лимонами. Отчетливо, хотя и в миниатюре, был мне виден над вывеской аптеки Михаил-архангел с поднятыми руками. Вагон трамвая пробежал мимо, заслонил картину и опять ее открыл. Перед кафе на углу стоял кондитерский фургон, и рыжий парень исчез в дверях с двумя деревянными ящиками. И вдруг, в то время как я наблюдал это все, в голове у меня возникла мысль, показавшаяся мне такой простой, такой самоочевидной, что я не мог понять, как не набрел на нее инженер.

Инцидент с автомобилем! С автомобилем Ойгена Бишофа! Он должен был стать отправною точкою в моем расследовании! Я принялся соображать: Бурггассе, седьмой участок, – с участковым полицейским комиссаром я знаком. Доктор Франц или Фридрих Гуфнагель! Несколькими месяцами раньше я приходил к нему по поводу анонимного угрожающего письма, полученного мною. Взяться самому за розыски – для этого я не чувствовал в себе достаточно самообладания и терпения. Я написал несколько строк на своей визитной карточке и, позвав своего слугу Винцента, снабдил его надлежащими инструкциями:

– Ты пойдешь в полицейский комиссариат на Крайндльгассе, спросишь доктора Гуфнагеля и передашь ему эту карточку. Он велит

показать тебе протокол одного несчастного случая с автомобилем. Из этого протокола ты заметишь себе фамилию шофера и номер его автомобиля. Затем ты дождешься этого шофера на месте его стоянки и доставишь его сюда, мне нужно с ним поговорить. Это все, что тебе нужно сделать. Понял? Полиция тебе поможет.

Он ушел, и у меня было достаточно времени поразмыслить о шансах моей попытки. Я их отнюдь не преувеличивал. У меня была надежда узнать, на какой улице Ойген Бишоф сел в этот автомобиль, чтобы вернуться домой. Это еще не бог весть какое открытие. Но тогда мне было бы, по крайней мере, известно, в каком квартале города нужно мне начать свои розыски. Что тогда только обнаружатся главные трудности, это мне было ясно. Но я уверенно рассчитывал на какую-нибудь счастливую случайность, ждал наития, которое мне поможет в нужный миг. А затем, перед инженером у меня, несомненно, было преимущество, и это было для меня временно важнее всего.

Целых два часа пришлось мне ждать, и время для меня проходило очень медленно. К трем часам пополудни Винцент вернулся. Он передал мне копию с полицейского протокола, из которой я узнал, что согласно рапорту нижнего чина полиции Иосифа Недведа от 24 сентября автомобиль AVI 138 (шофер Иоган Видерхофер) в 1 час 45 мин. того же дня наскочил на прицепной вагон трамвая № 5139 и при столкновении подвергся небольшой аварии. Шофер, которого Винцент разыскал на месте стоянки, ждал меня перед подъездом со своим автомобилем.

Господин Иоган Видерхофер оказался очень разговорчивым пожилым человеком. Он, по-видимому, весь еще находился под впечатлением неудачи, приведшей его в соприкосновение с полицией, и поэтому обрушился в гневных выражениях на полицейские правила вообще и на солидарность, существующую, по его мнению, между всеми вагоновожатыми.

– Меня в этом винить нечего, – объявил он. – Шел дождь, и накануне тоже было дождливо, мостовая сделалась скользкою, вот оно почему случилось. Весь убыток я понес. А вагоновожатые, эти мошенники, все заодно. И откуда ни возмись тут же полицейский. «Эй вы, господин, – сказал я ему, – не собирайте толпы, не устраивайте представления».

Он закурил сигару, и я воспользовался паузой, чтобы осведомиться о размерах понесенного им ущерба.

– Новый рессорный лист пришлось поставить, – ответил шофер. – И передние стекла – вдребезги! Весь день провозился с ремонтом. В субботу закончил его, в полдень стою на своем месте, и такой вышел случай – тот самый господин опять выходит из дома номер восемь. «Этого бы я не повез», – сказал мне мой товарищ. Ну, я не такой, я не суеверный. «Пожалуйста, господин, садитесь», – сказал я.

– Вы видели, что этот господин вышел из дома номер восемь? – перебил я его, не будучи в силах скрыть свое волнение. – Где ваша стоянка?

– На Доминиканском бастионе, как раз против народного кафе...

– Отвезите меня туда. Доминиканский бастион, номер восемь, – приказал я и сел в автомобиль.

Автомобиль остановился перед четырехэтажным серым домом угрюмого вида. В темных воротах я тщетно искал звонок к дворнику. Потом очутился в узком, очень грязном дворе, покрытом дождевыми лужами. Собака неопределенной породы, стоявшая на тачке, яростно залаяла на меня. На мусорной куче два маленьких бледных мальчика играли кирпичами, крышками от ящиков и разбитыми бутылками. Одного из них я спросил, где живет управляющий домом, но он меня не понял и не ответил.

Некоторое время я стоял в беспомощности, не зная, к кому обратиться. Откуда-то доносился непрерывный плеск воды, может быть, там был фонтан или вода стекала с кровли. Собака все еще лаяла. Я поднялся по деревянной витой лестнице в намерении позвонить у какой-нибудь двери и получить нужные мне сведения.

Неприятный запах ударил в нос, затхлый запах домашнего скарба, плесени и отбросов овощей. Я заставил себя идти дальше, преодолев отвращение, – мне не хотелось уйти ни с чем.

На площадке второго этажа я осмотрелся. Справа находилось правление академического кружка «Hilaritas». В дверной щели торчали два письма и смятая бумажка, на которой карандашом написано было: «Я в кафе „Кронштейн”» – и подпись, которой я не мог разобрать. Мне показалось бессмысленным наводить справки в этом кружке. Прошел я также мимо конторы Союза шапочных и войлочных торговцев. Третья дверь вела в частную квартиру. «Вильгельм Кубичек, майор в

отставке», – прочитал я на дощечке. Тут я позвонил и передал свою карточку открывшей мне двери служанке.

Меня ввели в просто обставленную комнату. Мебель была в белых чехлах. Против двери висел портрет какого-то генерала в мундире, с орденом Железной короны на груди. Майор вышел ко мне навстречу в халате и туфлях; лицо его выражало изумление и беспокойство по поводу непонятого ему визита. На столе лежали увеличительное стекло, турецкая трубка, блокнот, суконка, плитка шоколада и открытый альбом почтовых марок.

Я объяснил ему, что хотел бы справиться у него насчет одного из жильцов этого дома.

– Я счел правильным, – сказал я, – обратиться с этой просьбой к товарищу, ибо и я офицер, ротмистр двенадцатого драгунского полка.

Недоверие исчезло у него с лица. Он спросил, немного нерешительно, не являюсь ли я представителем какой-нибудь фирмы, и когда я ответил, что меня привели сюда собственные, совершенно частные интересы, то сдержанность покинула его. Он пожалел, что не может угостить меня рюмкою вкусной галицийской водки, контуштовки, поскольку его жена ушла из дому с ключами. Даже папирос не может он мне предложить, потому что курит трубку.

Я описал ему наружность человека, которого искал. Майор удивился, узнав, что дом, где он живет, приютил человека столь необычайной внешности. Ему никогда не приходилось слышать о существовании такого уroda.

– Странно! Странно! Странно! – бормотал он. – Я живу в этом доме с того самого времени, как ушел в отставку. Знаю всю улицу как свои пять пальцев. Когда фрау Холецаль из шестого номера готовит к обеду язык с каперсами, то это знает каждый ребенок на улице. Ты говоришь, он никогда не выходит на улицу. Но ведь о нем же было бы что-нибудь слышно, не может же человек так прятаться. Знаешь, что я думаю, ротмистр? Кто-то подшутил над тобой. Какой-то остряк, проказник или бездельник одурачил тебя, ты уж прости меня, ротмистр. – Он помолчал немного, размышляя. – С другой стороны – итальянец, говоришь ты? Погоди-ка, погоди-ка! До прошлого года здесь жил в доме один сербохорват, по-немецки говорил очень плохо, только со мною мог он объясняться на своем родном языке, потому что наш полк два года стоял в Пиеполье, знаешь, в этой дыре, тошнит

меня, когда вспомню о том времени, – да, мог бы я тебе рассказать всякие истории про Новый Базар, только это к делу не относится! Толст он, впрочем, не был, наоборот. Дулибич звали его, теперь вспоминаю, и был он племянником одного депутата. Все это государственные преступники, на мой взгляд... Но его ты не можешь иметь в виду, потому что он в прошлом году переехал в Будапешт. Дулибич, совершенно верно, его звали Дулибич. Минутку, минутку, погоди-ка! Есть еще тут жильцы, я их недели две не видел и спросил жену дворника: «Что это с господином Кратким делается, он совсем не показывается?» Воспаление среднего уха! Теперь уж он опять не выходит, немного бледен еще, немного слаб, такая болезнь изнуряет. Но, во-первых, он не итальянец, а во-вторых, не что чтобы очень толст.

Опять он задумался. Вдруг его осенило.

– Уж не ищешь ли ты господина Альбахари? – сказал он, понизив голос, и усмехнулся с видом снисходительного понимания. – Передо мной тебе стесняться нечего, мы, брат, товарищи, я тоже был молод. Господин Габриель Альбахари живет в третьем этаже, в восьмом номере. Ты себе и представить не можешь, сколько к нему народу ходит, – и все приличные господа, кавалеры, что ж, всякий может попасть в такое положение, когда нужен бывает господин Альбахари, я в этом ничего не вижу дурного. К тому же, говорят, он очень образованный человек, большой коллекционер: картины, древности, венские редкости, все что угодно. Он уже в годах, всегда элегантен, всегда выфранчен, только вот берет десять, двенадцать, пятнадцать процентов, как случится, иногда и больше.

У меня не было охоты быть сопричисленным к клиентуре ростовщика, и я решил, поскольку этого требовали обстоятельства, посвятить майора в положение дела.

– Я не нахожусь в стесненных обстоятельствах, господин майор, – сказал я. – Господин Альбахари меня не интересуется. Дело касается, коротко говоря, актера Бишофа, которого вы, может быть, знали по имени. В последние дни он несколько раз заходил в этот дом, и, судя по всему, его самоубийство находится в связи с этими визитами. Вчера вечером он застрелился на своей вилле.

Майор соскочил со стула, как от электрического тока.

– Что ты говоришь? Бишоф? Артист придворных театров?

– Да, мне очень важно узнать...

– Застрелился? Не может быть! Об этом в газетах сказано?

– Вероятно.

– Актер Бишоф! Так бы ты мне сразу и сказал! Разумеется, он здесь был. Третьего дня, нет, погоди-ка, в пятницу, часу в двенадцатом...

– Вы его видели?

– Не я – моя дочка. Что ты говоришь! Актер Бишоф! Послушайка, что же сказано в газетах? Денежные затруднения? Долги?

Я не ответил.

– Нервы, – продолжал он. – Наверное, нервы! Нынешние артисты народ развинченный, переутомленный... Моя дочка тоже нашла... Рассеянный, растерянный, сначала даже не понял, чего она хочет от него... Да, гениальные люди! Дочка моя... У каждого из нас – свой конек. Я вот собираю почтовые и юбилейные марки. Когда коллекция готова, продаю ее, всегда находится любитель. А девочка моя интересуется больше автографами: у нее уж целый альбом полон подписей. Живописцы, виртуозы, титулованные особы, актеры, певцы, одни только знаменитости. Ну а в пятницу, в полдень, она вбегает в комнату очень взволнованная: «Подумай, папа, кого я встретила на лестнице, – Бишофа!» Схватила альбом и выбежала. А потом приходит через час счастливая. Целый час прождала его на лестнице, но все-таки поймала, и он расписался в ее книге.

– Где же он был все время?

– У господина Альбахари, а то у кого же.

– Это только предположение? Или...

– Да нет же, она ведь видела, как он вышел оттуда. Господин Альбахари проводил его до дверей.

Я встал и поблагодарил майора за сведения.

– Ты уже уходишь? – сказал он. – Если у тебя есть еще минутка времени, может быть, тебя заинтересует коллекция. Особенных редкостей, правда, ты у меня не найдешь...

Он показал концом трубки на раскрытую страницу альбома и сказал:

– Гондурас, последний выпуск.

Спустя несколько минут я звонил у дверей господина Альбахари.

Долговязый рыжий парень в безрукавке впустил меня в прихожую.

– Нет, господина Альбахари нет дома. Когда вернется? Неизвестно. Может быть, только к вечеру.

Я стоял в нерешительности и размышлял, ждать ли мне. Из комнаты, дверь в которую была приоткрыта, доносились шаги и нетерпеливое покашливание.

– Еще один господин дожидается там, – сказал мне парень. – С полчаса уже здесь сидит.

Мой взгляд упал на вешалку. На ней висели пальто и серо-зеленая бархатная шляпа; к стене прислонена была черная полированная палка с набалдашником слоновой кости... «Черт побери, – промелькнуло у меня в голове, – эту палку я ведь знаю, и эту шляпу, и пальто! Знакомый! Недостает еще мне столкнуться с кем-нибудь из знакомых в квартире этого ростовщика! Прочь отсюда, пока ему не пришло на ум заглянуть в переднюю».

Я сказал, что приду в другой раз, может быть, завтра в это же время, и поторопился скрыться.

Внизу, в воротах, я внезапно вспомнил, откуда знаю ту шляпу, и пальто, и палку с набалдашником слоновой кости. Я остановился – так сильно было в этот миг мое замешательство. Не может быть! Нет, вздор, я ошибаюсь, как мог он меня опередить? Как разыскал сюда дорогу? И все же сомневаться было невозможно: человек, пальто которого висело в прихожей ростовщика, – это был инженер.

Глава 14

Дождь лил ручьями, когда я вышел из ворот. Улица была почти совершенно безлюдна; шофер сидел в резиновом пальто на своем месте и читал промокшую газету. Жуткое чувство овладело мною. Для меня было загадкой, какие соображения так быстро и так уверенно навели инженера на незримый след Ойгена Бишофа, и, говоря по правде, я скоро перестал ломать себе над этим голову. Я знал только, что мои розыски были совершенно излишни. Наведение справок в комиссариате, допрос шофера, визит к старому майору – бесполезный труд, потерянное время. Я чувствовал голод и усталость, меня знобило, дождь хлестал меня по лицу. Сухое белье, теплая комната... Мне хотелось как можно скорее очутиться дома...

Шофер возился с резервуаром бензина, потом выпрямился.

– Миртовая улица, восемнадцать! – крикнул я ему.

Это был мой адрес. Но в тот миг, когда автомобиль тронулся, меня озарила мысль, мгновенно изменившая мое настроение. Я думал, что прошел до конца по следу, на который набрел, – но нет, он вел дальше! Несчастный случай на Бурггассе! Странно, что это только теперь пришло мне в голову. Бурггассе лежит ведь в стороне от пути, по которому Ойгену Бишофу нужно было ехать домой. Что могло побудить шофера направиться в объезд? Это надо было узнать.

Я приказал остановить автомобиль. Посреди улицы под проливным дождем начал я допрашивать шофера:

– Куда вы должны были отвезти седока в ту пятницу, когда вы наскочили на вагон трамвая?

– На Миртовую улицу, – ответил шофер.

– Бросьте вздор молоть! – крикнул я в раздражении. – Вы меня не поняли. На Миртовую улицу еду я, Миртовая улица, 18, – это мой адрес. А я вас спрашиваю, куда вы в ту пятницу должны были отвезти седока?

– Да говорю же я – на Миртовую улицу, – равнодушно сказал шофер.

– На Миртовую, 18? Ко мне? – воскликнул я, озадаченный.

– Нет, не к вам. В аптеку.

– В какую аптеку? Михаила-архангела?

– Если там на улице только одна аптека, то, может быть, она и так называется.

«Что это значит? – спрашивал я себя, между тем как автомобиль понесся дальше. – Из квартиры ростовщика он едет в аптеку. Странно! И как раз в эту аптеку, хотя она совсем не по пути, – должны же быть на это причины!» Для меня была несомненна какая-то связь между визитом Ойгена Бишофа к ростовщику и его поездкой в аптеку. Как бы ее установить?.. И это, может быть, совсем не трудно, сказал я себе, я просто зайду в аптеку, я ведь и без того собирался купить бром, повод завязать разговор представится легко... Профессиональная тайна? Вздор. Профессиональных тайн в аптеках не существует. Все равно, надо только ловко взяться за дело, я обращусь к старику провизору, который всегда так почтительно здоровался со мною: «Ваш покорнейший слуга, господин барон, мы очень польщены», или же к самому аптекарю, или...

Господи милостивый! Весь день ломал я себе напрасно голову, и теперь благодаря этой случайности... но ведь это не случай, разумеется, Ойген Бишоф ради нее поехал в аптеку Михаила-архангела, он знает ее с детства, он ей доверился. А я... Каждый день видел ее из окон своей квартиры, когда она из аптеки бежала в университет на лекции с книгами под мышкой – маленькая рыжеватая блондинка, всегда торопливая, всегда возбужденная... И недавно еще, в вестибюле театра... Так вот почему ее голос показался мне таким знакомым, и теперь я понял также, отчего тембр этого голоса пробудил во мне воспоминание о каком-то необыкновенном запахе... Уксусный эфир, скипидарное масло – разумеется! Запах аптеки!

Я был вне себя от волнения, так как понимал огромное значение сделанного мною открытия. Я подумал об инженере, который сидел в этот миг в квартире старого процентщика, и ждал, и терял напрасно время, между тем как я... Еще две минуты, и я буду стоять лицом к лицу перед этой барышней, произнесшей загадочные слова о Страшном суде, с темным смыслом которых была каким-то образом связана тайна самоубийства Ойгена Бишофа. Мгновение, которое должно было принести с собой разгадку трагической проблемы, было, казалось мне, совсем близко, и я ждал его со смутным страхом, с

трепетом в душе, причины которого не понимал, и все же в лихорадочном нетерпении.

Ее звали Леопольдина Тайхман. Мать ее, рано умершая, была знаменитой актрисой, необыкновенной красавицей, имя которой в обществе, где я вырос, произносилось не иначе как с благоговейным восторгом. Дочь унаследовала от матери только рыжеватые волосы и какую-то мятежность духа да еще, пожалуй, пылкое честолюбие, судя по тому, что она по-дилетантски занималась многими искусствами, в том числе – живописью. Мне запомнилась одна ее картина, выставленная в Обществе художников, – натюрморт с астрами и далиями на длинных стеблях – вещь, вообще говоря, весьма посредственная. На благотворительных спектаклях она нередко подвизалась в качестве танцовщицы. Как-то раз она попросила Ойгена Бишофа давать ей уроки драматического искусства, но дальше предварительных переговоров дело не пошло. Затем она на некоторое время исчезла из общества, где играла известную роль. Оказавшись перед необходимостью избрать себе практическое поприще деятельности, она принялась изучать фармакологию. Так как я совершенно потерял ее из виду, то был очень удивлен, увидав ее потом в аптеке Михаила-архангела в роли провизора.

Дождь все еще лил, когда я прибыл на Миртовую улицу. Я остановился перед витриною аптеки и, рассматривая сквозь помутневшие стекла батареи склянок и коробочек, раздумывал о том, как мне начать разговор. Наконец я решил отрекомендоваться барышне другом Ойгена Бишофа и попросить у нее несколько минут для конфиденциальной беседы.

– Имею честь кланяться, господин барон, – произнес услужливо провизор, едва лишь я приоткрыл дверь. – Что прикажете, весь к вашим услугам.

Аптека была полна людей. Артельщик из банка, достававший из бумажника рецепт, две горничные, очень бледный, с льяными волосами молодой человек в роговых очках, читавший иллюстрированный журнал, босоногий мальчик, спросивший мятных лепешек, и старуха с корзиной для покупок, которой нужны были глазные капли, проскурнячный отвар, пражская мазь и «потом еще что-нибудь для очистки крови». Аптекарь сидел в смежной комнате за письменным столом. Леопольдины Тайхман я не видел.

– Какая ужасная погода! – сказал провизор, наливая мыльного спирту в бутылку. – Должно быть, и вы простудились, господин барон. По-моему, самое лучшее в таких случаях – стакан горячего вина, особенно если добавить в него мускатного цвета и гвоздичного корня да сахару побольше, а на ночь – согревающий компресс... Восемьдесят геллеров с вас, господин фон Сиберни, очень благодарен, имею честь кланяться, господин фон Сиберни, ваш слуга!..

Он кивнул в сторону бледного молодого человека в роговых очках, вышедшего из аптеки, подождал несколько секунд и сказал затем, обратившись ко мне и понизив голос:

– Этот господин, что вышел, – очень интересный случай, гемофилик. Был уже у всех врачей, профессоров, специалистов – никто не может помочь. Один на тысячу.

– Господин Сиберни? Так, так, так... Что-то и я слышала об этом, – сказала старуха с корзиной.

Я попросил снотворного порошка и получил несколько маленьких белых таблеток в картонной коробочке.

– А барышни вашей сегодня нет? – спросил я.

– Фрейлейн Польди?

– Кажется, ее так зовут. Такая рыженькая.

– Сегодня утром она свободна, потому что вчера дежурила ночью. Мы ждем ее с минуты на минуту, теперь уже пять часов; в сущности, она должна была прийти уже час тому назад. Не передать ли мне ей что-нибудь?

– Нет, не нужно, я загляну позже, – ответил я. – Ничего особенного, мне хотелось только передать ей поклон от общего знакомого, с которым я встретился в Граце. Я зашел сюда по дороге. Впрочем, дайте мне на всякий случай ее адрес.

Я видел по лицу провизора, что рассказ про общего знакомого в Граце показался ему не слишком правдоподобным. Он окинул меня испытующим взглядом, написал затем адрес на листке блокнота и сказал, передавая мне его:

– Третий этаж, квартира № 21, у господина надворного советника Каразека. Это ее дедушка. Фрейлейн Польди – из очень хорошей семьи, слышал я также, будто она помолвлена.

«Леопольдина Тайхман, Бройхаузгассе, № 11» – стояло на записке, которую мне дал провизор. Я не поехал туда сразу, я боялся с

нею разминуться, потому что она, быть может, уже шла обратно в аптеку, с этим надо было считаться.

Некоторое время я ходил по тротуару перед аптекою взад и вперед. К шести часам новый ливень загнал меня в мою квартиру. Из окон спальни я мог наблюдать за дверью аптеки.

Время проходило, а ее все еще не было видно. Сумерки сгустились, мне становилось трудно различать лица входивших и выходивших людей. Когда с улицы начал доноситься стук задвигаемых ставен, я покинул свой наблюдательный пост, перестав надеяться, что она еще придет.

«Надо ехать к ней, туда минут двадцать пути, – думал я. – Я застаю ее за ужином, это неприятно. В такое время вторгаться к незнакомым людям! И может быть, ее совсем нет дома. В театре или у какой-нибудь приятельницы... Все равно, тогда я подожду ее, мне нужно еще сегодня с нею говорить».

Много времени ушло у меня, прежде чем я разыскал фиакр; было почти восемь часов, когда я прибыл наконец на Бройхаузгассе. Дом № 11 был хмурым пятиэтажным зданием казарменного вида. Кинематограф, лавка старого платья, парикмахерская и трактир занимали первый этаж. Лестница была плохо освещена, уже на площадке третьего этажа было совсем темно. Спичек я не захватил с собой и тщетно старался разобрать номера на дверях.

Послышались шаги, двое мужчин впотьмах поднимались по лестнице. Я остановился и прислушался. Вот они миновали второй этаж. Загорелся карманный фонарик, узкий луч света упал на одну из дверей, скользнул вдоль стены, направился влево и потом назад, остановился и осветил латунную дощечку.

– Фридрих Каразек, надворный советник в отставке, – произнес голос доктора Горского.

– Доктор! – воскликнул я, оторопев. – Вы как сюда попали?

Луч света упал на мое лицо.

– А вот и вы, барон, – услышал я голос инженера.

– И вы тут? – крикнул я, ошеломленный. – Вас, по-видимому, совсем не поражает, что вы столкнулись тут со мною.

– Поражает? Вам угодно шутить, барон. Я несколько не сомневался, что и вы прочтете вечерние газеты, – сказал инженер и потянул за дверной колокольчик.

Глава 15

Я не понял смысла этих слов, я все еще был бесконечно изумлен неожиданной встречей. Только когда нам открыла дверь старая женщина и я увидел ее заплаканное лицо, ее растерянный вид, мне стало ясно, что в этом доме произошло несчастье.

Инженер назвал себя.

– Сольгруб, – сказал он. – Я тот, кто звонил сюда по телефону час тому назад.

– Молодой господин Каразек просил вас подождать, господа, – прошептала старуха. – Он вернется через четверть часа. Он только пошел в больницу. Входите, пожалуйста, но потише, чтобы господин надворный советник не услышал. Он этого не знает, видите ли. Мы ему ничего не сказали.

– Не знает? – спросил с удивлением доктор Горский.

– Нет. Еще полчаса тому назад он звал фрейлейн Польди, она ему всегда читает газету по вечерам. «Фрейлейн Польди еще в аптеке», – сказала я ему. Теперь он сидя заснул с газетой в руках. Проходите, пожалуйста, прямо по коридору, молодой господин Каразек сейчас придет.

– Мебель Бидермайера, – констатировал инженер и обменялся с доктором Горским взглядом взаимного понимания. Потом он опять обратился к старой женщине: – Молодой господин Каразек – сын надворного советника, не правда ли?

– Нет, внук, двоюродный брат фрейлейн Польди.

– И несчастье произошло в этой комнате, не так ли?

– Нет, не в этой, как можно, – в кабинете, где фрейлейн устроила свою лабораторию. Сегодня утром стою я в кухне и разговариваю с Мари – я здесь экономка, тридцать два года в доме служу, – вдруг вбегает молодой господин Каразек. «Фрау Седлак, – говорит он, – живо, есть у вас горячее молоко?» Я спрашиваю: «Для кого горячее молоко? Для господина надворного советника?» А он говорит: «Нет, для Польди, она лежит в судорогах на полу». Я как услышала – судороги, испугалась, а он совсем спокоен, он никогда не теряет спокойствия. Схватила я молоко с плиты, вбегаю, вижу: фрейлейн

корчится на полу и личико бледное как мел, а губки синие. Я еще говорю: «Это падучая» – и хватаю ее за руки, и вдруг: «Господи Иисусе, – кричу, – у фрейлейн бутылочка в руке». «Что с вами, что вы кричите? – говорит господин Каразек и видит тоже бутылочку, берет ее, нюхает и бежит к телефону. – Барышня, „Скорую помощь“!» Через несколько минут они уже были здесь, счастье еще, что это так быстро произошло, и доктор «Скорой помощи» тоже сказал: «Еще минута, и, может быть, не было бы уже надежды». И потом он еще сказал: «Она не могла это сделать по нечаянности. Фармацевт узнает это по запаху сразу...» Вы, господа, простите, мне теперь нужно в кухню. Я дома одна, и господин надворный советник, когда проснется, попросит рисовой каши.

Она закрыла окно, оправила желтый чехол на рояле, окинула взглядом комнату и, найдя все в порядке, вышла. Я встал, чтобы рассмотреть картины на стене. Акварели и небольшие пастели, дилетантская работа – каштановое дерево в цвету, портрет молодого человека, играющего на скрипке, довольно посредственно скомпонованная рыночная площадь в деревне; был здесь и тот натюрморт, который я видел на картинной выставке, – астры и далии в японской зеленоватой вазе, – он, стало быть, не нашел покупателя. Но больше всего этого привлекала меня другая картина, в полумраке висевшая на стене подле рояля: прекрасная Агата Тайхман в костюме Дездемоны, я узнал ее сразу, хотя почти двадцать лет прошло с того дня, когда я видел ее в последний раз.

– Странная встреча после двадцатилетней разлуки, доктор, – сказал я и показал на портрет великой актрисы.

Внезапная скорбь овладела мною, я почувствовал, какую чужою стала мне моя собственная молодость, с болезненной ясностью осознал я на мгновение быстротечность времени и его неумолимость.

– Агата Тайхман, – сказал доктор и поправил пенсне на носу. – Я видел ее на сцене один только раз. Агата Тайхман! Сколько лет было вам тогда, барон? Очень мало, не правда ли, девятнадцать или двадцать, не больше. Воспоминание не окончательно забытое, правда? А я, знаете ли, никогда не имел успеха у женщин. Зато сегодня могу хладнокровно стоять перед старым портретом. Я видел ее как-то в роли Медеи, вот и все.

Я не ответил. Инженер посмотрел на нас обоих недоумевающим взглядом, покачал головой, бегло взглянул на картину и прошел в кабинет.

Мы остались в комнате одни. Доктор начинал терять терпение и все чаще посматривал на часы. Я тоже тяготился ожиданием. Взял книгу, лежавшую на письменном столе, но это был словарь, и я положил его сейчас же обратно.

Спустя четверть часа инженер наконец вернулся в комнату. Он, по-видимому, искал что-то на полу, потому что руки у него были в пыли и грязи. Доктор Горский вскочил.

– Сольгруб, что вы нашли? – спросил он.

Инженер покачал головой:

– Ничего.

– В самом деле ничего?

– Ни малейшего следа, никакой путеводной нити, – повторил инженер и рассеянно посмотрел на свои руки.

– Там вода, Сольгруб, – сказал доктор. – Вы на ложном пути, неужели вы этого не понимаете? Весь день вы гонитесь за этим призраком. Ваше чудовище не существует – никогда не существовало. Ваше чудовище – смехотворное порождение неправильного хода мыслей, выдумка – сколько раз я должен вам это повторять? Вы вбили себе в голову нелепую мысль и не подвигаетесь вперед.

– А вы что предполагаете, доктор? – спросил инженер, стоя перед умывальником.

– Мы должны постараться повлиять на Феликса.

– Это безнадежно.

– Дайте мне время.

– Время? Нет, времени я вам не могу дать. Разве вы слепы? Разве вы не видите, как он там сидит и молчит и предоставляет нам болтать? Он ни за что не допустит, чтобы его честное слово было сделано предметом дискуссии с весьма проблематичным исходом. Он твердо принял решение, он сделает то, чего от него требует Феликс, быть может, завтра, быть может, еще сегодня ночью, у него палец на курке, а вы хотите располагать временем.

Я хотел возразить, заявить протест, но инженер не дал мне заговорить.

– Я на ложном пути, разумеется! – воскликнул он. – То же самое говорили вы мне сегодня в полдень, доктор, когда я на театральной площади разыскивал шофера, который отвез Ойгена Бишофа к его убийце. Потом, когда я нашел этот дом и поднимался по лестнице, вы крикнули мне вдогонку, что я на ложном пути, что я помешался на своей идее...

– Вы были в квартире процентщика? – перебил я его.

– Процентщика? – переспросил удивленно инженер. – О каком вы говорите процентщике?

– О Габриеле Альбахари. Доминиканский бастион, 8.

– Разве он процентщик? Об этом вы ничего мне не сказали, доктор.

– Он дает деньги в долг под заклады, – заметил доктор Горский. – Знакомство не из тех, которыми приходится гордиться. Но при этом он один из наших лучших знатоков искусства и коллекционеров. Ойген Бишоф знал его почти двадцать лет и пользовался иногда его шекспировской библиотекой и альбомами костюмов.

– Вы говорили с этим человеком, господин Сольгруб? – спросил я.

– Нет. Его не было дома, и я воспользовался этим, чтобы осмотреть квартиру в поисках убийцы.

– А каков был ваш успех, об этом вы предпочитаете не говорить, Сольгруб, не так ли? – заметил доктор Горский.

– Молчите! – крикнул инженер и вспомнил в тот же миг, что находится в чужой квартире, а поэтому понизил голос: – Я не нашел его, это правда, но только потому, что составил себе о нем неправильное представление, – вот почему я не нашел его. Логическая ошибка... В моих рассуждениях где-то есть логическая ошибка. Но убийца там, наверху, он не выходил из своей квартиры, он не мог из нее выйти, и я найду его, доктор, будьте в этом уверены.

И при этих словах что-то во мне зашевелилось, какое-то высокомерие проснулось во мне и подталкивало меня лишиться уверенности стоявшего передо мною человека, сбить его с толку, свергнуть в сомнение – и я сказал хладнокровно и вполне серьезно:

– А что, если я скажу вам теперь, что Феликс прав? Что дело было именно так, как он вам вчера излагал? Если я признаюсь, что я действительно убийца Ойгена Бишофа?

Доктор Горский схватил меня за руку и безмолвно вперил в меня взгляд. Инженер покачал головой.

– Вздор, – сказал он, – не говорите же вздора. Не воображайте, что можете сбить меня с толку. Слышите? Звонят. Это молодой Каразек. Будьте добры, дайте мне с ним переговорить.

Глава 16

– Он считает нас репортерами, – шепнул мне доктор Горский. – Не разубеждайте его, так хочет Сольгруб. Хорошо, что вы в штатском платье. Драгунский ротмистр в роли газетного хроникера – это было бы...

Молодой человек, вошедший в комнату в это мгновение, производил впечатление весьма незначительного хлыща и, вероятно, разыгрывал в своем пригородном кафе роль законодателя мод. Он поклонился:

– Господа, имею честь! – и представился: – Каразек! – после чего провел рукою по своему тщательно расчесанному пробору и предложил нам папирос из своего альпакового портсигара.

– С вашей стороны очень любезно, – сказал инженер, – что вы нашли для нас время, несмотря на сегодняшние волнения. Разрешите прежде всего осведомиться о состоянии здоровья вашей кухни.

– Помилуйте, помилуйте, – отклонил похвалу молодой Каразек. – Я знаю долг публициста... Бессменно на посту... Мой покойный отец часто имел дело с господами журналистами. Герман Каразек, начальник восемнадцатого округа городского управления, старший архитектор, быть может, кто-нибудь из вас был с ним знаком, господа... Да, моя кухня, увы! Меня к ней не пустили.

Он нагнулся и сказал вполголоса, словно посвящая нас в служебную тайну:

– Профессор прибег теперь к хлорэтилу.

– Вдыхания, вероятно? – заметил доктор Горский.

– Хлорэтил, – повторил молодой Каразек. – Надо исчерпать все средства.

– Говорили вы с врачом? – спросил инженер. – Может ли ваша кухня к завтрашнему дню оправиться настолько, чтобы принять посетителей?

– К завтрашнему? Едва ли, едва ли, – сказал молодой человек и покачал головой. – Врач думает... Я говорил с ассистентом, профессор, ра-зумеется, очень занят, не имеет времени... Ассистент

думает, надеяться можно разве что на чудо, и сестра тоже говорит, что, вероятно, она до утра не доживет.

– Ей так худо? – спросил инженер.

Господин Каразек поднял руки в жесте скорби и уронил их опять. Доктор Горский встал и взялся за шляпу.

– Вы уже уходите, господа? – спросил молодой человек. – Не повремените ли еще немного?.. Я думал, может быть, не откажетесь от чашечки черного кофе, это отнимет не больше двух минут, я сейчас распоржусь... Что я хотел еще спросить: с кем из господ имел я честь... по телефону, если позволите узнать...

– Я вам звонил, – сказал инженер.

– Как могли вы знать, разрешите спросить... Я был совершенно, что называется, ошарашен. Да, она много курила, двенадцать, пятнадцать папирос в день, часто еще до завтрака. В наше время среди молодых барышень это не редкость. Моему дедушке это нельзя говорить, помилуйте, старик, скоро восемьдесят стукнет, весь еще в прошлом живет. Но как вы могли знать, что моя кузина непосредственно перед этим... И пяти минут не прошло... Вы меня поразили. Я даже подумал – вот удивительный человек, откуда он это знает...

– Дело объясняется очень просто, – ответил инженер. – Ваша кузина покушалась на самоубийство не добровольно, а под принуждением, это я могу вам уверенно заявить. За последнее время произошло три совершенно аналогичных случая вынужденного самоубийства. Во всех трех случаях, судя по всему, замешана была одна и та же особа, и методы были у нее во всех трех случаях одинаковые. Ваша кузина, стало быть, действительно попросила у вас папиросу непосредственно перед покушением?

– Папиросу? Нет. Об этом не могло быть речи. У нее на письменном столе стояла целая коробка папирос. Она попросила только гильзу, пустую папиросную гильзу.

– Гильзу! – воскликнул взволнованно инженер. – Разумеется, это нужно было предполагать. Пустую гильзу! Угадайте, доктор, с какой целью Ойген Бишоф захватил трубку барона? Еще один вопрос, господин Каразек. Вопрос, который вам, пожалуй, покажется странным: за последнее время говорила ли ваша кузина когда-нибудь о Страшном суде? Вы меня понимаете? О дне Страшного суда.

– Да, говорила, господин... Простите, ваше имя?..

– Сольгруб, Вольдемар Сольгруб! – крикнул нетерпеливо инженер. – В какой же связи? Подумайте, вы, может быть, вспомните.

– В какой связи? В связи с живописью. Она высказала такую мысль в тот день, когда со мною и Ландштетером... Я должен объяснить предварительно, что Польди обручена с моим другом Ландштетером, сослуживцем. Очень милый человек, приходит к нам ежедневно, весною они собирались повенчаться. Денег у него немного, но должность хорошая, а она тоже зарабатывает, у нее есть профессия... Приданое, мебель, все в порядке, и дедушка благословил их обеими руками. Ну-с, а на прошлой неделе, в четверг, мы ужинали небольшой компанией у «Оленя», несколько барышень, несколько приятелей, один из них праздновал свой день ангела, было очень оживленно, а на обратном пути мы втроем – Польди, Ландштетер и я – пошли вперед, Ландштетер имел при себе свою гитару, и вдруг Польди опять заводит об этом речь: аптека ей надоела и она хочет опять заняться искусством. А Ландштетер, не давая ей говорить, останавливается и начинает спорить. «Польди, – говорит он, – если ты говоришь серьезно, то, по-видимому, совсем не торопишься со мной повенчаться; ты ведь знаешь, средства у меня небольшие, и мне приходится рассчитывать и на твой заработок, по крайней мере вначале, если же ты уйдешь из аптеки...» «А кто сказал тебе, – перебила его Польди, – что я не могу зарабатывать картинами гораздо, неизмеримо больше?» Ландштетер отвечает на это: «Ты уже два раза выставляла картины и не продала ни одной. Нельзя прошибить стенку головою, да еще при отсутствии связей». «На этот раз у меня будет успех», – говорит Польди. «Вот как? Почему же именно на этот раз?» – набрасывается на нее Ландштетер. А Польди отвечает совершенно спокойно: «Потому что мои картины будут лучше. Об этом предоставь позаботиться Мастеру Страшного суда».

– Мастеру Страшного суда? – перебил его инженер. – Ради Создателя, кто же это? Вы его знаете?

– Нет, не знаю. И Ландштетер тоже спросил: «Кто же это такой, черт возьми? Опять уж какой-нибудь художник, который пригласил тебя в свою мастерскую?»

А Польди смеется и говорит: «Ты ревнуешь, Людвиг? Право же, тебе ревновать не приходится. Если бы я могла тебе сказать, сколько

ему лет!» Но Ландштетер приходит в ярость и кричит: «Сколько бы ему ни было лет, я желаю знать, Польди, кто он такой, и имею на это право!»

А Польди смотрит на него и отвечает: «Ладно, ты имеешь на это право, и когда я стану знаменитой, то назову тебе его. Только тебе, Людвиг, больше никому. Тебе – да. Но только когда я стану знаменитостью, не раньше!» Тем временем остальные нас догнали, и потом уже весь вечер от Польди нельзя было добиться ни слова.

– Доктор! – сказал инженер. – Насчет его приемов у нас теперь не может быть сомнений, не так ли? Мы знаем западню, знаем и приманку. Только его мотивы – загадка для меня. Какова цель его дьявольских козней? Продолжайте, пожалуйста, господин Каразек. Что было дальше?

– На следующий день, в полдень, Польди пришла домой с незнакомым господином, и тут мне припомнилась опять вся эта история. Рослый, мускулистый господин, гладко выбритый, уже в летах, с проседью, и Польди проходит мимо меня к себе в комнату, не знакомит нас; к такому обращению я не привык и думаю себе: Ландштетеру это, наверное, будет не по вкусу – одна с этим господином; с другой стороны, я не хотел быть назойлив, лучше, думаю, подожду, пока он выйдет, а затем остановлю его и прямо спрошу, что это значит и вообще чего он хочет от Польди. Но когда я через полчаса заглянул в комнату, господина этого уже не было, но книга лежит на столе, и я еще сказал Польди: «Твой знакомый забыл здесь книгу, толстый словарь, вещь немалочтенная...»

– Он забыл книгу? – перебил его инженер. – Где она? Можно мне ее видеть?

– Пожалуйста. Вот она лежит, – сказал молодой человек, и Сольгруб взял книгу со стола, ту самую книгу, которую я машинально перелистывал полчаса тому назад.

У него вырвался возглас изумления.

– Итальянская! – воскликнул он. – Итальянский словарь! Ну что, доктор, кто был прав? Чудовище говорит по-итальянски, вот вам доказательство. Ойген Бишоф носил с собой эту книгу, чтобы объясниться с чудовищем. Но... это что такое? Посмотрите-ка, доктор, что могло бы это значить?

Доктор Горский, заинтересовавшись, наклонился над книгой.

– Витоло-Мангольд. Энциклопедический словарь итальянского языка, – прочитал он на титульном листе. – Чересчур объемист. Громоздок. Справочное издание.

– Больше вам ничего не бросается в глаза?

Доктор Горский покачал головой.

– Неужели ничего? – спросил инженер. – Присмотритесь же к этой книге!.. Господин Каразек, вы видели этого господина, когда он входил. Уверены ли вы, что у него не было в руках еще одной книги?

– Только эта была у него, я знаю наверное.

– Это замечательно. Смотрите, доктор: это итальянско-немецкий словарь. Немецко-итальянской части нет в этом томе. Немецко-итальянская часть, очевидно, не нужна была Ойгену Бишофу. Как это понять? Ойген Бишоф не говорил с убийцей. Один говорит, другой молчит, и слушает, и переводит... Что это значит? Постойте...

– Что случилось? – послышался со стороны двери высокий дрожащий старческий голос. – В кухне сидит фрау Седлак и плачет. Что же произошло с Леопольдиной?

Надворный советник Каразек, отец Агаты Тайхман, величественное лицо которого запечатлелось у меня в памяти с прежних времен, очень изменился. Дряхлый, худой как призрак старик стоял на пороге, опираясь на палку, и совершенно лишенным выражения взглядом уставился в пол.

Молодой Каразек вскочил.

– Дедушка! – пролепетал он. – Ничего не произошло, что же могло произойти? Польди лежит и спит, вот она лежит на диване, ты ведь видишь. У нее было сегодня, у бедненькой, ночное дежурство.

– Беспокоит меня девочка, – вздохнул старик. – Упрямая, не слушает меня, ничего ей нельзя посоветовать. Это у нее от матери. Знаешь, Генрих, как натерпелся я от Агаты. Сперва развод. Сколько горя было! А потом, из-за какого-то прощелья лейтенанта... Прихожу домой, чувствую запах газа, в квартире темно, как в погребке. «Агата!» – кричу я...

– Дедушка! – попросил молодой Каразек, и на его обычно ничего не говорящем лице появилось теперь трогательное выражение нежности и заботы. – Дедушка, полно об этом! С того времени сколько уже лет прошло.

– Понял! – сказал внезапно инженер так громко, словно был в комнате совсем один. – Мы можем идти, доктор. Здесь нам больше делать нечего.

Старец поднял голову.

– У тебя гости, Генрих? – спросил он.

– Несколько товарищей по службе, дедушка.

– Что ж, это хорошо, не мешает поразвлечься немного, в картишки поиграть. Простите, господа, что я не поздоровался с вами. Глаза мои никуда не годятся. Близорук я был всегда, но мне говорили – с годами зрение исправится. А у меня наоборот... Что же с Польди случилось? Куда она запропастилась? Я сижу и жду, чтобы она мне газету прочитала...

– Дедушка, – сказал молодой Каразек, поглядывая на нас беспомощным, полным отчаяния взглядом, – дай ей поспать, она устала. Не буди ее! Сегодня я тебе прочту газету.

Глава 17

Доктор Горский был в отвратительном настроении, ворчал, бранился про себя, осторожно, ощупью спускаясь впотьмах по крутой лестнице.

– Сольгруб? – крикнул он. – Где он, куда девался? У него мой карманный фонарик. Бежит вперед, бросает меня на произвол судьбы... Манеры, нечего сказать! Осторожнее, тут ступеньки! Барон, где вы? Идите же вперед, я ничего не вижу. Вправо? Влево? Хоть бы спички у меня были, даже спичек нет. Я знаю, вы видите впотьмах, в вас вообще есть нечто кошачье, я это всегда говорил. Ваш безмолвный поклон там, наверху, – замечательно! Что вы имели, в сущности, в виду? Разве вы не заметили, что старик слеп? Совершенно слеп. Не дай мне бог дожить до такой старости. Свет! Наконец-то! Аллилуйя, слава в вышних богу, мы внизу.

Улицу одел прозрачный туман, все небо было в тучах, газовые фонари роняли тусклые полосы света на мокрую мостовую. Перед кинематографом стояли люди. Дверь трактира открылась, и оттуда донеслось пение хриплых голосов и унылая музыка оркестриона.

К нам подошел инженер.

– Где вы оставались так долго? – спросил он. – Я жду вас тут целую вечность. Десять минут десятого. К антиквару нам уже поздно.

– К Альбахари? – воскликнул доктор. – Что вам опять от него нужно, черт возьми?

– Что мне нужно от него? Доктор, вы соображаете медленно, можно было бы... У школьника больше сообразительности. Мне нужно еще раз посмотреть на Мастера Страшного суда. Сегодня днем... Что вы так пялите на меня глаза? Да, на чудовище. Разве вы не понимаете меня? На убийцу Ойгена Бишофа.

Доктор Горский покачал головой:

– Вы считаете убийцей этого старика?

– Какого старика?

– Антиквара.

– О господи! Доктор, у вас дьявольская способность путать все представления. Сообщите: прежде всего папиросная гильза. Какую

она сыграла в этом роль, догадаться было нетрудно. Затем книга, словарь, я открыл ее и увидел: вот ключ ко всему! Далее нужно было все это обмозговать, сосредоточиться, но тут появился этот старец, надворный советник со своими вопросами, – я совсем не слушал его. Методические рассуждения, доктор, – это ценная вещь. Убийца. Он не слушает, он только говорит, – что это значит? Теперь я знаю, что это значит. Дело в порядке. У меня нет повода к самодовольству, весь день был полон ошибок. А ведь и в самом деле чудовище, колосс, и я целый час сидел против него и не узнал его.

Мы медленно шли вдоль улицы. Доктор Горский толкнул меня локтем.

– Понимаете вы это? – спросил он.

– Ни слова не понял, – ответил я.

Инженер обдал меня злобным взглядом.

– Вам вовсе и не нужно меня понимать. К чему? Дело в порядке, этого с вас достаточно. Вы можете спокойно спать сегодня ночью. Вы не уедете. На охоте не произойдет несчастного случая. В Готском альманахе не будет помечено крестом ваше имя – покамест, хочу я сказать. Настолько вы меня, надеюсь, понимаете.

– Не угодно ли вам объяснить нам сколько-нибудь вразумительно, что вы, в сущности, открыли? – попросил доктор Горский.

– Не сегодня, доктор. Я составил себе только смутное представление о происшедшем. Картина очень неясна, и к тому же... есть еще пробелы в логическом ходе событий. Я все еще не знаю, в кого направлена была первая пуля Ойгена Бишофа, и покуда я этого не знаю...

– А это когда-нибудь удастся установить?

– Может быть. Что мешает мне повторить эксперимент Ойгена Бишофа? Возможно, что я уже завтра сообщу вам вещи, которые представят ценность и для вас, барон. Больше я вам сегодня сказать не могу. Потерпите.

– Сольгруб! – крикнул доктор Горский. – Если вы говорите серьезно – а мне кажется, вы понимаете, что говорите, – если речь идет об эксперименте, то, ради Создателя, будьте осторожны, берегитесь!

– Ладно, доктор, – сказал спокойно инженер. – Вы думаете, я слепо брошусь в опасность? Я предостережен, я точно знаю, чего должен опасаться. Смотрите...

Он остановился и достал из кармана небольшой револьвер странной конструкции.

– Вот мой старый друг, спутник мой при многих ночных рекогносцировках между Кирином и Гензаном, – но теперь он мне не нужен, мы должны расстаться. Возьмите-ка его на хранение, доктор. Чудовище, притаившееся там, в квартире антиквара, – вы ведь знаете: оно не убивает, оно принуждает к самоубийству. И нет у него власти надо мною, пока я безоружен.

– Что же вы сделаете с этим чудовищем, Сольгруб?

– Его нужно уничтожить, – сказал инженер тихо и злобно. – В огонь его! Несчастливая девушка, за жизнь которой борются и эту ночь врачи, пусть будет его последней жертвой.

– В огонь его! – повторил доктор. – Вы сказали: в огонь его? Если я вас правильно понял, то это чудовище...

– Э, вы, кажется, начинаете догадываться, доктор! – воскликнул инженер. – Вам для этого понадобилось достаточно времени. Нет, не человек из плоти и крови – давно умерший жив и прокрадывается в головы, но я покончу с призраком! Довольно об этом! Вы его увидите.

Мы вышли наконец на более оживленную улицу в той части города, где я мог ориентироваться. Дуговые фонари горели ярко. По обеим сторонам мостовой тянулись ряды акаций. Где-то поблизости должны были находиться казармы 73-го полка.

– Куда вы нас завели? – ворчал доктор Горский. – Мы напрасно сделали крюк, я мог бы давно быть дома.

– Я еще не собираюсь отпустить вас домой, – заметил Сольгруб. – Тут неподалеку есть кафе «Гулливер». Не разопьем ли мы еще бутылочку коньяку?

Доктор Горский, не поинтересовавшись моим мнением, отклонил это приглашение от нашего общего имени.

– Я еду домой трамваем, – заявил он. – Да, трамваем, – продолжал он, взглянув на меня. – Я не офицер и корпоративных обязанностей не несу. Можете оставаться здесь и ждать, пока не проедет случайный фиакр.

– Пустяки, пойдем со мной, – уговаривал его инженер. – Если вам посчастливится, я обещаю вам интересное знакомство. В кафе «Гулливер» бывает мой друг Пфистерер, универсальный ученый, человек с памятью Барнума, ходячая энциклопедия, и при этом танцор,

живописец, гравер, артист, бармен, меццофанти, что хотите. Виртуоз в искусстве обуздывать своих кредиторов, их у него по меньшей мере пятьсот.

– Спасибо, – проворчал доктор Горский, – я не переношу длинноволосых гениев.

– Мой друг Пфистерер – из породы рыжеволосых. Это как раз тот человек, который мне нужен сегодня. Идем же вместе, мне не хочется сегодня в одиночестве возвращаться домой.

Мы вошли в кафе. Это было весьма подозрительное заведение, и наш приход произвел большое впечатление на немногочисленных гостей. Инженер был здесь, по-видимому, всем знаком – буфетчица приветствовала его любезно-снисходительным «Добрый вечер, доктор!».

Подошел хмурый кельнер и спросил, чем может служить.

– Доктор Пфистерер здесь еще? – спросил инженер.

– Как же ему уйти, – сказал кельнер, сделав жест, выразивший презрение и недоверие.

– Сколько он вам задолжал?

– Двадцать семь крон по счету.

– Вот вам двадцать семь крон и вот вам на чай, – сказал инженер. – Где доктор Пфистерер?

– Наверху, сидит в бильярдной, как всегда, и пишет.

Долговязый, тощий, рыжий человек сидел за одним из мраморных столиков. Перед ним – наполовину выпитая бутылка пива, рюмка для яиц, служившая ему чернильницей, и кипа исписанной бумаги. Очень молоденькая девушка с выкрашенными, соломенного цвета волосами молча набивала папирсы, сидя с ним рядом. На столе против него висел приколотый кнопкою грязный, убористо исписанный карандашом клочок бумаги, при ближайшем рассмотрении оказавшийся документом большого значения: «Объявление! Нижеподписавшиеся с сожалением берут обратно обвинение в краже двух иллюстрированных журналов, выдвинутое ими против доктора Пфистерера, так как сей последний пригрозил им судебным преследованием. С совершенным почтением: стол четырех».

– Вот и он, – сказал инженер. – Добрый вечер, Пфистерер.

– Здравствуй. Не мешай, – ответил рыжий, не поднимая глаз.

– Что ты сочиняешь, если позволишь узнать?

– Диссертацию для одного молодого кретина, который тянется к докторскому диплому. Кельнер, компот из груш и кофе по-турецки `a la Пфистерер. До одиннадцати я должен кончить.

– Дай-ка взглянуть, можно? – Инженер взял со стола один из исписанных листов. – «Пектиновые вещества и масляные гликозиды в качестве вкусовых ингредиентов наших огородных овощей...» Помилуй бог, с каких пор ты занимаешься уже и химией?

– Столько я еще смыслю в ней, сколько господ факультетские профессора, – пробурчал ученый муж и продолжал писать.

– Пфистерер, есть у тебя минута времени? Мне нужно получить у тебя справку.

– Валяй, но живо! Юноша придет в одиннадцать часов за своим произведением.

– Существует ли художник, которого история живописи называет Мастером Страшного суда?

– Джовансимоне Киджи, известный мастер, ученик Пьеро ди Козимо. Дальше.

– Когда жил?

– До 1520 года, во Флоренции, – невежда!

– Кончил жизнь самоубийством?

– Нет. Умер в монастыре серафических братьев. В умопомешательстве.

– В умопомешательстве, – повторил инженер.

Универсальный ученый отложил в сторону перо и поднял глаза.

Один глаз у него был стеклянный, а на правой щеке – красный лишай.

– Это все, что ты хочешь знать?

– Спасибо. Все.

– От твоего «спасибо» мне мало проку. Ты задал мне три вопроса, как Миме всеотцу Вотану^[6]. Отвечай теперь ты. Три вопроса: во-первых, есть у тебя деньги, Сольгруб?

– Твой счет оплачен.

– Превосходно. Два остальных вопроса отпадают. Ступай своей дорогой. Я уже давно заметил, что ты постыдно перебежал на сторону имущей части человечества. Брысь отсюда! Прочь с глаз моих!

Мы стоя выпили по рюмке коньяку.

– В умопомешательстве, – бормотал инженер. – Он сильнее вооружен, чем я думал. В умопомешательстве! Вздор! Я участвовал в Маньчжурской войне, я не боюсь его Страшного суда.

Глава 18

Странная мысль пришла мне в голову, когда я наутро следующего дня сидел за завтраком. Она не покидала меня, я пытался занять свой ум более серьезными и важными вещами – напрасный труд! Она не переставала возвращаться, не давала мне покоя, и я ей в конце концов поддался.

Я встал, взял из коробочки аптекаря пять или шесть таблеток и растворил их в стакане воды. Мой взгляд упал на чемоданы, все еще стоявшие в комнате, я ведь собирался уехать... От прежнего плана мне пришлось отказаться, его обратила в ничто эта до смешного безумная мысль.

Когда я потом сидел за своим письменным столом, мысль эта казалась мне уже не такой смешной и безумной. Спать от одной ночи до другой, спать без сновидений, обмануть черта на один день, осенний и хмурый, легким движением руки сломить тиранию часов... «Теперь же! – шептал мне какой-то голос. – К чему откладывать?..» Стакан уже был у меня в руке... Нет! Я начал обороняться. Еще нет! Мне нужно было уйти. Нужно было привести в порядок важные дела! Были вещи, которые нельзя было отсрочить.

– Позже, – сказал я вполголоса. – Может быть, сегодня вечером, – сказал я и поставил обратно стакан на письменный стол.

Возвратившись в полдень домой, я застал у себя записку от инженера: «У меня есть для вас важное известие. Прошу вас убедительно, не уезжайте, ничего не предпринимайте, пока я с вами не переговорю. Днем я буду у вас».

Я остался дома, у меня и раньше не было намерения еще раз выйти. Я достал книгу из шкафа и уселся за письменный стол.

В четвертом часу дня разразилась гроза с ливнем, с бурей, мне пришлось быстро закрыть окна, иначе в комнате произошло бы наводнение, и, стоя затем у окна, я наблюдал, как прохожие прятались в воротах, улица мгновенно обезлюдела – это меня развлекло и позабавило. Вдруг раздался звонок. «Это он, – подумал я, – вероятно, промок до костей. Важное известие. Ну ладно, посмотрим». Я не спеша поставил книгу на место, поднял листок бумаги с пола,

поправил кресло перед письменным столом, потом вышел. «Винцент, где тот господин, который спрашивал меня?» Никто меня не спрашивал. Дневная почта. Долгожданное письмо из Норвегии, от Иоланты, молодой особы, с которой я познакомился в Ставангерском фиорде. Большой белый конверт без печати, без духов – это на нее похоже. Я прозвал ее в шутку Иолантой, по имени героини какого-то французского романа, заглавие которого я позабыл; но имени этого она не одобрила, оно не понравилось ей. Ее звали Августой. «Наконец-то, – подумал я, – вспомнила она обо мне. Вот обещанное письмо. Ладно, но теперь моя очередь. Пусть подождет, я ждал достаточно долго», – и, не распечатав письмо, я бросил его в ящик письменного стола.

В семь часов вечера я перестал ждать. Стемнело. По стеклам все еще барабанил дождь, черные тучи висели над кровлями домов. Он не придет – поздно! Неужели не будет сегодня конца дождю? стакан, в который я опустил белые таблетки, стоял передо мной... Нет еще! Время еще не наступило. Мне предстояла работа, работа тягостная, я ее все время откладывал, но теперь мне нужно было наконец привести в порядок свои бумаги. Записки, документы, папки, смятые или небрежно брошенные письма, бесполезный балласт, накопившийся за много лет, – я с трудом разбирался в хламе, которым был набит мой стол. Винценту пришлось разложить огонь в камине, в комнате стало тепло и уютно, и я вытащил из нижнего ящика кипу запыленных бумаг. Странный случай – прежде всего мне попались под руку школьные тетради военного училища. Одну из них я открыл, перелистал – неуклюжий почерк шестнадцатилетнего подростка!.. Запас, ополчение служат для поддержки регулярных войск... Воинская повинность, всеобщая, выполняется лично. На полях поспешно набросано: в среду рождение мамы. Горная артиллерия: разъемное, с откаткой ствола скорострельное орудие со съёмным кожухом. Вторник, 16-го, форсированный марш, встать в четыре часа... Сумерки моего рассвета! Так началась моя жизнь! Долой этот хлам, в огонь его!

Письма моего опекуна, четверть века прошло со дня его смерти. Портрет совсем молоденькой девушки, я не мог вспомнить, кто она, а на обороте прочитал: «24 февраля 1902 года, сблизить нас должна подлинная дружба». Письма, визитные карточки, протокол, подписанный фамилиями четырех людей, ставших мне чужими.

Дневник одной женщины, рано умершей, начатый 1 января 1901 года в санатории доктора Деметера, в Меране. Большой, разноцветными карандашами сделанный эскиз. Отчет моего управляющего о продаже 1200 куб. метров леса. Составленный мною рукописный каталог собраний панамских и яванских художественных изделий и при нем благодарственное письмо этнографического отделения естественно-исторического музея за этот дар. Гравированное на меди приглашение на придворный бал, письма, письма и, наконец, фотография, недавняя, переданная мне на прощание дочерью голландского консула в Рангуне, с надписью на сингалезском языке. «Не трудитесь узнать, – сказала она мне, – что я тут нацарапала для вас, все равно не узнаете». Взяв портрет в руку и рассматривая вычурные письма, я и теперь не знал, ненависть ли они означают или любовь... Все пошло в камин. Портрет из Рангуна отбивался, не хотел сдаться языкам огня, но пламя было слишком сильно и уничтожило гордые глаза, немного хмурый лоб, всю стройную фигуру и оставшиеся непочитанными слова...

– Простите, пожалуйста, – вдруг раздался голос со стороны двери. – Я очень запоздал... Вы один, барон? Сольгруба здесь еще нет?

Я вскочил. Очевидно, я не расслышал звонка. Ослепленный ярким огнем камина, я не узнавал человека, стоявшего передо мною в полумраке.

– Я стучал, но не услышал ответа, – сказал поздний гость и прикрыл за собою дверь. – К вам Сольгруб еще не приходил?

Он приблизился на шаг, свет настольной лампы озарил его лицо. Теперь я узнал его. Феликс, брат Дины. «Что ему нужно здесь? – спросил я себя, опешив. – Что привело его сюда, черт побери?»

– Сольгруб? Нет, он не приходил, – сказал я, растерявшись. – Со вчерашнего дня я не видел его.

– В таком случае он сейчас, по-видимому, придет, – проговорил Феликс и сел на стул, который я подвинул ему. – Сольгруб, мой друг Сольгруб помешался на одной идее. Он считает вас совершенно непричастным к происшествиям, повлекшим за собою самоубийство Ойгена Бишофа. И пригласил меня сюда, чтобы представить мне, как он выразился, результаты своих исследований в вашем присутствии.

Я молча выслушал его. Ничего не ответил.

– Мы оба, барон, – продолжал Феликс, – знаем, как произошло дело в действительности. Сольгруб – это фантаст, он крайне склонен

становиться в смешные положения. Самоубийство какой-то совершенно мне неизвестной дамы находится, по его мнению, в связи с самоубийством моего зятя. Он упомянул о каком-то эксперименте, который сулит ему важное открытие, и о влиянии некоего таинственного незнакомца – видит бог, мне было нелегко выслушать его до конца. Если я правильно понял его, он строит свою систему ошибочных силлогизмов на том факте, что Ойген Бишоф выстрелил дважды: один раз в себя, другой – в неизвестную цель. Когда Сольгруб придет, в чем я не сомневаюсь, чтобы признаться нам в своем заблуждении, я разъясню ему тайну первого выстрела: Ойген Бишоф ни разу еще не пускал в ход своего револьвера. Вот почему он сделал пробный выстрел, прежде чем направил оружие на себя самого. Таково простое объяснение. Странно, что Сольгруба нет еще здесь.

– Вам угодно ждать его? – спросил я резко, ибо хотел положить конец этой беседе.

– Если я не мешаю вам...

– Позвольте мне в таком случае продолжать свою работу.

И, не ожидая ответа, я взял из стола пачку писем и начал их просматривать.

– Зеленый молитвенный коврик из Боснии! – сказал Феликс, глаза его блуждали в полумраке, окутавшем комнату. – Сколько времени прошло с того дня, когда я сидел здесь перед вами в последний раз? Я был вольноопределяющимся вашего полка и пришел с вами посоветоваться по одному тяготившему меня делу. Eheu, fugaces, Postume, Postume^[7]... Вы говорили тогда со мною как друг, – все в огонь, барон?

– Все в огонь. Мелочи прошлого... Инженер, очевидно, не придет сегодня. Теперь уже девять часов.

– Он придет наверное.

– В таком случае разрешите предложить вам покамест... Рюмку шерри? Чашку чаю?

– Нет, благодарю вас. Мне бы только воды... Вы позволите взять стакан, что у вас на письменном столе...

– Я бы вам не советовал пить из этого стакана, – сказал я и позвонил слуге. – Это снотворное, которое я приготовил себе на ночь.

– На ночь, – тихо повторил Феликс и устремил на меня долгий испытующий взгляд.

Прошло несколько минут. Пришел Винцент, выслушал мое распоряжение и бесшумно исчез. Я рылся в старых бумагах.

– Я поступил нехорошо, не пригласив вас сегодня утром подняться наверх, – заговорил вдруг Феликс. – Когда я через полчаса подошел к окну, вас уже не было, быть может, вами руководило вполне естественное желание...

Я остановил его – не словом, не жестом, только изумленным выражением глаз.

– Я видел, как вы ходили под дождем взад и вперед около виллы, – неужели я ошибся? – продолжал он, немного смутясь.

– В какое время это было? – спросил я.

– В десять часов утра.

– Это невозможно, – сказал я спокойно. – В десять часов я был в канцелярии моего адвоката. Наша беседа продолжалась от девяти до одиннадцати утра.

– В таком случае я введен в заблуждение весьма, впрочем, необычайным сходством.

– Вероятно, – сказал я и почувствовал, как во мне поднимается гнев.

Он все еще был уверен, что я стоял под окнами виллы, чтобы перехватить взгляд Дины, я читал это в его глазах. Я больше не мог владеть собою, на меня нашло дикое желание оскорбить его, поразить его чувство гордости, сделать ему больно. Я достал портрет, нашел его сразу – портрет, которого не показывал еще ни одному человеку на свете, держал его в руке несколько секунд, держал его так, что Феликс должен был его узнать, я видел, как он побледнел, как задрожала его рука, державшая стакан с водою, – и затем я небрежным жестом бросил портрет Дины в огонь.

Судорога пробежала у меня по телу, я почувствовал укол в области сердца, невольно вспомнилась мне одна ночь, зимняя ночь, и в следующий миг мне захотелось голыми руками выхватить портрет из огня, но я превозмог себя, дал обратиться в пепел портрету и не тронулся с места. В глазах у меня стало темно, я видел пламя в камине, руку в белой повязке и больше ничего.

– Вот мне и дан ответ, ради которого я пришел сюда, – услышал я голос Феликса. – Говоря по правде, ваши планы не были мне ясны, и ночь у меня ушла на составление письменного отчета о деле,

касающемся вас и меня, на всякий случай. Теперь, конечно... Я вас понял, барон. Вы приняли определенное решение, и оно бесповоротно. Иначе вы не расстались бы с этим портретом.

Он вынул из бокового кармана большой белый конверт и держал его так, что я мог прочесть надпись.

– Вот письмо, – сказал он. – Оно стало излишним. Разрешите воспользоваться случаем, представляющимся мне.

И он бросил в камин письмо, адресованное командиру моего полка.

И теперь, в этот миг, я понял, что час настал и судьба моя решена. И лишь только эта уверенность овладела мною, образ клонившегося к закату дня показался мне вдруг странно изменившимся: мне почудилось, будто уже с самого утра только эта мысль и руководила мною, что я должен умереть, потому что злоупотребил своим словом. И все, что я делал в течение дня, раскрыло мне теперь свой тайный смысл: словно не из прихоти только, а из желания умереть уничтожил я свои бумаги – ничего не должно было остаться в этом мире на долю пошлого любопытства. Долгожданное письмо из Норвегии, письмо Иоланты, я оставил нераспечатанным; что бы в нем ни содержалось, читать его уже не имело смысла. И там стоял стакан, и ждал меня, и сулил сон – сон без пробуждения.

– Позвонили, – сказал Феликс, – это Сольгруб. Теперь пусть рассказывает нам свои сказки. В наших решениях это не изменит ничего.

Я услышал шаги... Сольгруб... Инженер... Я боялся мгновения, когда он появится в комнате; то, что он мог сообщить, должно было теперь прозвучать нелепо, дико, смешно – я видел насмешливую улыбку на губах Феликса.

– Сольгруб! Входи, Сольгруб! – крикнул он. – С какими ты вестями? Рассказывай!

Это был не инженер. Доктор Горский стоял в дверях.

– Это вы, доктор? Вы ищете Сольгруба? – спросил Феликс.

– Нет. Я вас ищу, – медленно сказал доктор Горский. – Я был у вас, меня направили сюда.

– Кто вас направил сюда?

– Дина. Я это скрыл от нее, я ей ничего не сказал. Сольгруб...

– Что Сольгруб?

Доктор Горский сделал шаг вперед, остановился и впери́л в меня глаза.

– Сольгруб... в семь часов, я еще принимал больных, вдруг зазвонил телефон. «Кто у телефона?» – «Доктор! Ради бога, доктор!» «Кто говорит?» – кричу я, еще не узнав голоса. «Доктор, скорее, ради бога, скажите Феликсу...» «Сольгруб, – кричу я, – это вы? Что случилось?» «Назад! – вопит он голосом уже нечеловеческим. – Назад!» И потом уже я ничего не слышал, только грохот, как от падения стула. Я еще раз позвал его, никакого ответа. Я сбегая вниз, сажусь в фиакр... Взлетаю по лестнице, звоню – никто не отворяет. Лечу опять вниз как сумасшедший, достаю слесаря... Взламываем дверь... Сольгруб лежит, растянувшись на полу, бездыханный, с телефонной трубкой в руке.

– Самоубийство? – спросил Феликс, остолбенев.

– Нет. Разрыв сердца... Это был эксперимент, – сказал доктор Горский. – Нет сомнения, что он пал жертвою своего эксперимента.

– Что же хотел он мне передать – в последний миг?

– Убийцу хотел он вам назвать, своего убийцу, убийцу Ойгена Бишофа.

– Своего убийцу? Ведь вы сказали – разрыв сердца.

– Убийца пользуется разнообразными средствами, в том числе и этим. Я знаю, где его нужно искать. Мы должны его обезвредить. Сольгруб погиб, теперь очередь за нами. Слышите, Феликс? А вы, барон...

– Я прошу на меня не рассчитывать, – сказал я. – На завтра я уже распорядился своим временем.

Феликс повернулся ко мне. Наши взгляды встретились.

– Нет, – сказал он. – Теперь нет.

Он схватил стакан, стоявший на письменном столе.

– Вы позволите? – спросил он и вылил его содержимое на пол.

Глава 19

На другой день после погребения Сольгруба мы встретились в садовом ресторане неподалеку от городского парка и вдали от центральных улиц. Это было ясное, немного морозное утро. Разносчики подходили к нашему столу и предлагали груши, виноград, ветки терновника и можжуху. Подошел и босняк с ножами и тросточками. Среди столов скакала прирученная галка повара в поисках хлебных крошек. Мы были единственными гостями, Феликс велел принести газеты, но не смотрел в их сторону, и так мы сидели вдвоем, поглядывая на парк и обмениваясь односложными замечаниями насчет погоды, дорожных планов и неаккуратности доктора Горского.

Наконец около 9 часов он появился. Стал извиняться: инспекторские обязанности, ночной обход палат, в семь часов – операция. Он прямо из госпиталя. Стоя выпил он чашку горячего кофе.

– Это мой завтрак, – сказал он. – Кофе, а затем сигара. Для нервов – яд. Могу вам только посоветовать: не берите с меня пример.

Затем мы отправились в путь.

– Брюква, капуста, копченая селедка, плохие папиросы, – говорил доктор Горский, когда мы поднимались по лестнице к антиквару, – воздух, самый подходящий для нашего предприятия. Мы люди маленькие, барон. Весьма возможно, что вам деньги надобны; немного, тыщонки две, три, поручителей вы привели с собой. Прямо вломиться в двери нам нельзя, настроен он, наверное, подозрительно, лучше всего отдадимся на волю случая... Еще один этаж. Надо надеяться, он дома, иначе придется ждать его.

Господин Габриель Альбахари оказался дома. Рыжий слуга ввел нас в гостиную, переполненную предметами искусства всех времен и стилей. Сейчас же после этого в комнату вошел господин Альбахари, маленький, изящный человек, одетый с преувеличенной, почти щегольской элегантностью; нафабранные усы, монокль, на расстоянии десяти шагов несло от него гелиотропом.

– Балканы, – шепнул мне доктор Горский.

Он пригласил нас жестом сесть и некоторое время испытующе присматривался к нам. Затем обратился ко мне:

– Кажется, я не ошибаюсь, господин барон, – мой сын служил под вашим начальством. Вольноопределяющийся Эдмунд Альбахари. Я знаю вас, господин барон, по Турфу.

– Эдмунд Альбахари, – повторял я, тщетно напрягая память. – Вольноопределяющийся. Да, конечно, это было, по-видимому, довольно давно. Как поживает молодой человек?

– Как он поживает? Да кто мог бы на это ответить? Может быть, и хорошо. К сожалению, он уже целый год со мною не живет.

– Уехал? За границу?

– Уехал, да. За границу. Гораздо дальше, чем за границу, многоуважаемый. Если день и ночь к нему ехать десять лет подряд, и тогда не доедешь... Покойного батюшку вашего я тоже знал, лет тридцать прошло с тех пор, как я знал его. Чему обязан честью, господин барон?

Я был в некотором затруднении, так как не собирался называть ему свое имя. Тем не менее я решил взять на себя порученную мне роль. Изложил ему свою просьбу.

Господин Альбахари, бровью не поведя, выслушал меня с учтивым вниманием и даже кивнул мне поощрительно раза два головою, пока я говорил. Затем он сказал:

– Вас неправильно осведомили, господин барон. Я антиквар, в настоящее время, в сущности, только коллекционер, денежными операциями я никогда не занимался. Случается, правда, что я устраиваю кредит хорошим знакомым, которые обращаются ко мне, но только чтобы им услужить, и охотно предоставляю себя, разумеется, к вашим услугам. Разрешите узнать, какую сумму вам угодно было бы получить.

– Мне нужны две тысячи крон, – сказал я и увидел, как беспокойно заерзал на стуле доктор Горский.

Старичок с недоумением посмотрел мне в лицо. Потом рассмеялся.

– Вы изволите шутить, господин барон. Я понимаю. Вам срочно требуются две тысячи крон, а через две минуты вы предложите мне полмиллиона за моего Гейнсборо.

Я не знал, что ему ответить. Доктор Горский кусал губы и обдавал меня злобными взглядами. Феликс попытался спасти положение.

– Вы совершенно правы, господин Альбахари, это была шутка, – сказал он. – Мы знали, что вы неохотно и не всякому показываете свои художественные сокровища, и выбрали поэтому не совсем удачный способ с вами познакомиться... Это и есть ваш Гейнсборо?

Он показал на висевшую против нас картину. Я ее до этого мгновения не замечал.

– Нет, это Ромни, – сказал снисходительно господин Альбахари. – Джордж Ромни, родившийся в Дальтоне, в Ланкашире. Портрет мисс Эвелины Локвуд. Оригинал принадлежал мне. Всего только несколько дней тому назад я продал его в Англию.

– Стало быть, копия?

– Да, превосходная работа. Не совсем закончена, некоторые части, как вы видите, набросаны только эскизно. Гениальный молодой художник, рекомендованный мне профессором академии. К сожалению, чересчур гениальный. Юноша покончил с собою.

– Покончил с собою? Здесь, у вас?

– Нет. У себя дома.

– Но работал он здесь, в этой квартире? – спросил доктор Горский. – В какой комнате? Можно это узнать?

– В моей библиотеке, – сказал, удивившись, антиквар. – Она светлее других. Окнами на юг.

– Еще один только вопрос, господин Альбахари. Сколько времени находится ваш сын в больнице для нервных больных?

– Одиннадцать месяцев, – ответил, запинаясь, старик, вытаращив в ужасе глаза на доктора. – Отчего вы это спрашиваете?

– Я знаю, отчего спрашиваю это, господин Альбахари. Вы это сейчас узнаете. Могу я вас просить проводить нас в свою библиотеку?

Габриель Альбахари молча повел нас в библиотеку. На пороге комнаты доктор Горский остановился.

– Чудовище! – сказал он и показал на гигантский фолиант, лежавший в фонаре на резном готическом пульте. Книги подобного формата я никогда еще в жизни не видел. – Чудовище! Эта книга виновна в несчастье, постигшем вашего сына. Эта книга подтолкнула Ойгена Бишофа к самоубийству. Эта книга...

– Что вы, бог с вами! – воскликнул антиквар. – Правда, он читал эту книгу, когда был у меня в последний раз. Он пришел, чтобы просмотреть альбомы старых костюмов, но, когда я уходил, он стоял перед этим пультом. «Не стесняйся, Ойген, я иду завтракать», – сказал я, мы с ним были старые друзья, я знал его двадцать пять лет. «Если тебе что-нибудь понадобится, позвони слуге». «Ладно», – сказал он, и с той минуты я не видел его живым, потому что, вернувшись, уже не застал его. А господин, навестивший меня три дня тому назад, сразу же попросил показать ему эту книгу, сделал из нее выписки и сказал, что вернется.

– Он не вернулся. Не мог вернуться. Он умер в тот же вечер... Откуда у вас эта книга?

– Мой сын привез ее из Амстердама. Ради Создателя, что все это значит? Что написано в этой книге?

– Это мы теперь установим, – сказал доктор Горский и приподнял тяжелую, с медною отделкою, крышку переплета. Феликс стоял за ним и смотрел поверх его плеча.

– Географические карты! – воскликнул в изумлении доктор Горский. – «Theatrum orbis terrarum»^[8]. Старый географический атлас.

– Гравированные на меди и от руки раскрашенные карты, – определил Феликс. – «Domino Florentino. Ducato di Ferrara. Romagna olim Flaminia». Ничего, кроме карт. Мы ошиблись, доктор.

– Перелистывайте дальше, Феликс. «Patrimonio di San Pietro et Sabina. Regno di Napoli. Legionis regnum et Asturiarum principatus». Теперь идут испанские провинции... Стойте! Вы видите? На оборотной стороне что-то написано.

– Вы правы. По-итальянски.

– По-староитальянски. Совершенно верно. «Nel nome di Domineddio vivo, gusto e sempiterno ed al di Sui honore! Relazione dei Pompeo dei Bene, organista e cittadino della citta di Firenze...» Феликс, это оно и есть!.. Господин Альбахари, можете вы отдать мне эту книгу?

– Возьмите ее, уберите отсюда, я не могу больше видеть ее.

– Да, но как мне взять ее? – сказал доктор Горский. – Как унести отсюда? Мне ее даже трудно поднять.

– Я пришлю сюда из лаборатории двух мускулистых молодцев, – решил Феликс. – В три часа дня она будет у меня.

Глава 20

«...Во имя живого, вечного и справедливого Бога и во славу Его: сообщение органиста и гражданина города Флоренции Помпео деи Бене о событиях, происшедших у него на глазах в ночь накануне дня Симона и Иуды, лета от Рождества Христова MDXXXII. Писано его собственной рукою.

Так как завтра мне исполнится пятьдесят лет, а дела в этом городе приняли такой оборот, при котором человек может легче расстаться с жизнью, чем он полагает, то я хочу ныне, после многих лет молчания, правдиво рассказать и записать для памяти, что произошло в ту ночь с Джовансимоне Киджи по прозвищу Каттиванца, прославленным зодчим и живописцем, которого люди называют теперь Мастером Страшного суда. Да отпустит ему Господь грехи его, как я молю его отпустить их мне и всякой твари.

В шестнадцатилетнем возрасте я избрал живопись ремеслом своим и собирался ею кормиться. И отец мой, который был ткачом шелковых материй в городе Пизе, отдал меня в мастерскую к Томмазо Гамбарелли, и я работал с ним вместе над многими большими и прекрасными произведениями.

Но двадцать четвертого мая, накануне праздника св. Троицы, в тот самый день, когда враги овладели горою Сансовино, названный Томмазо Гамбарелли скончался в больнице делла Скала от чумы. Поэтому я стал искать во имя Божие другого мастера и пошел к Джовансимоне Киджи, мастерская которого помещалась на старом рынке, подле ветошных лавок.

Сей Джовансимоне Киджи был небольшого роста ворчливый человек; зиму и лето носил он колпачок из синей ткани с наушниками, и кто видел его первый раз, тому он казался похожим скорее на мавританского пирата, чем на христианина и гражданина города Флоренции. И был он так скуп, что и половины хлеба не давал мне в неделю. Я не пробыл у него еще и семи недель, а уже истратил пять золотых флоринов из своего кошелька.

Однажды вечером, вернувшись из школы домой, я застал мастера моего в мастерской беседующим с мессиром Донато Салимбени из

Сиены, врачом, состоявшим на службе у кардинала-легата Пандольфо де Нерли. Мессир Салимбени был человеком возвышенной души и почтенного вида. Он много путешествовал и был весьма опытен в искусстве врачевания. Я знал его по дому моего прежнего мастера, и его целебные снадобья очень мне помогли, когда я при одной поездке в Пизу занемог лихорадкою вследствие сырости воздуха.

Когда я вошел, мессир Салимбени рассматривал картину, на которой изображена была Мадонна, окруженная ангелами, между тем как мастер ходил взад и вперед перед очагом, чтобы согреться. И, увидев меня, мессир Салимбени знаком подозвал меня к себе и спросил:

– А этот?

– У меня только он и есть, – ответил мастер и скривил рот. – Цветы и маленьких животных он пишет хорошо, такие работы особенно удаются ему. И если бы мне надо было на своих картинах помещать сов, кошек, певчих птиц или скорпионов, он мог бы мне, пожалуй, быть полезен.

Вздохнув, он нагнулся к земле, чтобы подбросить в огонь два полена. Затем продолжал:

– Когда я был молод, мне удавались многие великолепные произведения, и мое искусство послужило к вящей славе этого города. Мною сделан из бронзы прекрасный святой Петр, которого вы и ныне можете видеть перед алтарем церкви Санта-Мария-дель-Флоре. В ту пору мне прибили к дверям больше двадцати сонетов, восхвалявших мое творение и мое имя. Оказывали мне и другие, еще большие, почести. Теперь же я старик, и ничего уже не удастся мне.

И, показав на Христа, проповедующего в храме, и на возносимую к небу ангелами Магдалину, он сказал:

– То, что вы видите там, ничего не стоит. Я это сознаю, и вы не должны мне это говорить, ибо нет ничего тягостнее порицания. В молодости я обладал даром воображения и видел Бога Отца и патриархов, видел Спасителя, святых, Пречистую Деву и ангелов.

Видел я их с чудесною ясностью, куда бы ни смотрел, наверху, в облаках, и здесь, в моей мастерской, так отчетливо и живо, как никогда не мог бы разум измыслить их. И какими я видел их, такими изображал, и мало было мастеров, способных сравниться со мною. Теперь же глаза мои потускнели и видения погасли.

Мессир Салимбени стоял, прислонясь к стене, в сумраке, и я не видел его, я только слышал его голос.

– Джовансимоне! – сказал он. – Вся человеческая мудрость есть только дым и тень перед ликом Господа. Все же мне было дано, так как я обращал свои мысли к Богу, постигнуть некоторые тайны, коими полон этот бранный мир. И то, что ты называешь даром воображения, я могу возратить тебе и могу пробудить даже в людях, никогда этим даром не владевших. И это мне сделать легко.

Мастер насторожил слух. Некоторое время он стоял в раздумье, потом покачал головою и рассмеялся.

– Мессир Салимбени! – сказал он. – Всему городу известно, что вы кичитесь знанием многих тайных наук и искусств, но, когда вам приходится пустить их в дело, всегда у вас находятся отговорки. Наверное, пустая похвальба и то, что вы только что сказали. Уж не научились ли вы, чего доброго, этому искусству при дворе Могола или Турка?

– Искусство это не языческое, – ответил ученый врач, – и я обязан им только милости Господа, указавшего мне стезю познания.

– В таком случае, – сказал мастер, – мое единственное желание – поскорее увидеть какие-нибудь плоды этого искусства, но одно я вам должен сказать: если вы дурачите меня, то поплатитесь за это.

– Все, что мы можем сделать сегодня, – сказал мессир Салимбени, – это условиться насчет дня, когда приступим к делу, но сначала обдумай свой шаг, Джовансимоне! Ибо, говорю тебе, ты дерзаешь уплыть в бурное море, и, быть может, лучше тебе оставаться в гавани.

– Вы правы, мессир Салимбени! – воскликнул мастер. – Нужно быть осмотрительным. Всем известно, что вы мне враг, и враг опасный, хотя вы на словах относитесь ко мне с должным почтением. Мне не следует доверяться вам.

– Это правда, Джовансимоне, и к чему это скрывать! – сказал врач кардинала-легата. – Одно происшествие стало между нами. У тебя вышла ссора с Чино Салимбени, племянником моим, и он круто говорил с тобою, и ты сказал так громко, что все присутствовавшие могли это слышать: «Потерпи, воздастся тебе и за это». И спустя несколько дней он найден был убитым на дороге, ведущей по лугам к монастырю, и нож торчал у него между затылком и шеей.

– У него было много врагов, и я ему предсказал его несчастье, – пробормотал мастер.

– Это был кинжал мизерикордия^[9], и на клинке испанский оружейный мастер вытравил свое имя, – продолжал мессир Салимбени. – Этот нож принадлежал человеку, бежавшему сюда из Толедо, и его схватили и поставили перед судилищем восьми. Но он клятвенно уверял, что за ночь до этого потерял свой кинжал близ ветошных лавок на рынке. Они не поверили ему, и он взошел на колесницу.

– С уважением подобает относиться к приговору восьми, – сказал мастер, – и что было, то прошло.

– Знай, – воскликнул мессир Салимбени, – что никогда не проходит то, что было, и виновный должен ждать Божьей кары.

– Я вам только могу повторить, – ответил мастер, – я был у себя дома и писал святую Агнессу с книгою и ягненком, как она была мне заказана, и в это время пришел ко мне мессир Чино и предложил помириться, и мы выпили мировую и в дружбе расстались. А на следующий день, когда совершилось злодеяние, я лежал больной в постели. На это есть свидетели у меня. Пусть не будет ко мне милостив Господь в день Страшного суда, если дело происходило иначе.

– Джовансимоне! – сказал врач. – Недаром люди называют тебя «Подлость».

Когда мастер услышал эту презрительную кличку, которую дали ему сограждане, он пришел в гнев, потому что не переносил ее. И гнев отнял у него рассудок. Он схватил ружье, которое у него висело в мастерской всегда наготове, и потряс им как бешеный, и завопил:

– Вон отсюда, разбойник, и не смей мне больше показываться на глаза!

Мессир Салимбени повернулся и пошел вниз по лестнице, но мастер с ружьем в руке побежал следом за ним, и я еще долго слышал на улице его брань.

Спустя немного дней, накануне праздника Симона и Иуды, мессир Донато Салимбени пришел еще раз. И он сказал с таким видом, словно между ним и мастером ничего не произошло:

– Настал день, которого ты ждешь, Джовансимоне, и я готов.

Мастер поднял глаза от своей работы. Узнав мессира Салимбени, он опять прогневался и воскликнул:

– Что нужно вам еще? Разве я не выгнал вас из своего дома?

– Сегодня ты будешь мне рад, – сказал врач, – я пришел исполнить то, о чем мы говорили, и время для этого как раз подходящее.

– Ступайте с богом, ступайте, – сказал сердито мастер. – Вы оскорбили меня бранным словом. И я вам этого не прощу.

– К тому, кто ни в чем не виновен, мои слова не относились, – ответил ему мессир Салимбени, а затем обратился ко мне и воскликнул: – Встань, Помпео, теперь не время бездельничать. Ступай и принеси мне то-то и то-то.

И он назвал мне травы и зелья, которые нужны были для его курева, и сказал, сколько надо взять каждого. Среди трав были некоторые, названия которых были мне незнакомы, другие же можно было собрать на каждом лугу. И к ним бутылка крепкой водки.

Когда я вернулся из москательной лавки, оба они во всемладили друг с другом. И мессир Салимбени взял у меня из рук травы и коренья и сказал мастеру: вот это называется так-то, а это так-то. Потом он приготовил курево.

Когда оно было готово, мы вышли из мастерской. И в то время как мы сходили по лестнице, мастер дал увидеть мессиру Салимбени, что под плащом у него спрятаны кинжал и шпага.

– Мессир Салимбени! – сказал он. – Хотя бы вы были самим дьяволом, не думайте, что я вас боюсь.

Мы прошли по улице Киара и по мосту Рифредди на ту сторону реки – мимо сукновальни и мимо часовенки, где стоят старые мраморные саркофаги. Ночь была светлая и лунная. И наконец после часа ходьбы мы взошли на холм, отвесно спускающийся к каменоломне. Ныне на этом месте стоит дом, но в ту пору там днем паслись козы.

Там остановился мессир Салимбени и приказал мне собрать хворосту и желудей и разложить костер. И обратился к моему мастеру со словами:

– Джовансимоне, вот это место, и час настал. Еще раз говорю тебе: обдумай свой шаг! Ибо силен и уверен в себе должен быть тот, кто хочет отважиться на такое предприятие.

– Ладно, ладно, – сказал мастер. – Не нужно лишних слов, начинайте.

Тогда мессир Салимбени со многими ужимками и телодвижениями очертил круг, средоточием которого был костер, и, сделав это, вышел из круга.

Густое облако дыма поднялось над огнем и окутало мастера, и на мгновение он исчез в дыму. Когда же облако рассеялось, мессир Салимбени снова подбросил курево в пламя. Потом спросил:

– Что видишь ты теперь, Джовансимоне?

– Я вижу, – сказал мастер, – поля и реку, и городские башни, и ночное небо, больше ничего. Теперь я вижу зайца, скачущего по лугам, и, о чудо, он оседлан и взнуздан.

– Это поистине странное видение, – сказал мессир Салимбени. – Но ты сегодня еще не то увидишь, думается мне.

– Это не заяц, а козел! – воскликнул мастер. – Это не козел, а заморское животное, названия которого я не знаю, и оно прыгает, словно взбесилось. Теперь оно исчезло.

Вдруг мастер начал отвешивать поклоны.

– Смотри-ка! – воскликнул он. – Мой сосед, золотых дел мастер, умерший в прошлом году. Он не видит меня. Горе вам, мастер Кастольдо, у вас все лицо в нарывах и в желваках.

– Джовансимоне, что видишь ты теперь? – спросил врач.

– Я вижу, – ответил мастер, – зубчатые утесы, и ущелья, и провалы, и каменные гроты. И вижу скалу, совсем черную, свободно парящую в воздухе и не падающую, а это большое чудо, и трудно поверить ему.

– Это долина Иосафата!^[10] – воскликнул мессир Салимбени. – А черная скала, парящая в воздухе, это вечный Божий престол. И знай, Джовансимоне: появление скалы служит мне знаком, что тебе еще в эту ночь суждено увидеть столь великие вещи, каких никто не видел до тебя.

– Мы не одни, – сказал мастер, и голос его понизился до боязливого шепота. – Я вижу людей, поющих и ликующих. Их много.

– Не много, нет, их мало, тех, кому дано вместе с ангелами Божьими петь хвалу дню Страшного суда, – тихим голосом сказал мессир Салимбени.

– А теперь я вижу тысячи, многие тысячи, несметный сонм рыцарей, и сенаторов, и богато одетых женщин. Они заламывают руки и плачут, и громкое стенание поднимается над толпой.

– Они скорбят о том, что было и больше не может быть. Они плачут, оттого что осуждены на мрак и навеки лишены лицезрения Бога.

– Страшное огненное знамение стоит в небе! – вскричал мастер. – И светится оно краскою, какой я не видел еще никогда. Горе мне! Это краска нездешнего мира, и глаза мои не переносят ее.

– То пурпурная краска трубного гласа! – воскликнул мессир Салимбени. – Этим пурпуром окрашено солнце в последний день творения.

– Чей голос в бурном вихре позвал меня по имени? – крикнул мастер, задрожав всем телом. И вдруг у него вырвался рев, как у зверя, пронизавший ночную тишину и не обрывавшийся. – Горе мне! – завопил он. – Они здесь, они тянутся ко мне, духи преисподней, появляются со всех сторон, и воздух наполнился ими.

И, гонимый отчаянием, он попытался бежать, но незримые демоны настигли его, и он свалился на землю и отбивался от них во все стороны. Вопя, со страшно искаженным лицом, он встал, и опять побежал, и опять свалился, и это было столь плачевное зрелище, что мне казалось, я умру от страха.

– Помогите ему, мессир Салимбени! – воскликнул я в отчаянии, но врач кардинала-легата покачал головой.

– Поздно, – сказал он. – Мастер погиб, ибо призраки ночи получили власть над ним.

– Пощадите его, мессир Салимбени, пощадите! – взмолился я.

Тогда духи преисподней схватили мастера и повлекли за собою, и он отбивался и кричал. И мессир Салимбени подошел к нему; там, где холм опускается к каменоломне, преградил он ему дорогу.

– Убийца, не боящийся всемогущего Бога! – крикнул он. – Встань и признайся в своем злодеянии!

– Пощады! – вскричал мастер, и упал на колени, и закрыл руками лицо.

Тогда мессир Салимбени поднял кулак и так поразил его в лоб, что мастер замертво грохнулся наземь.

Ныне я знаю, что это был не жестокий, а милосердный поступок и что этим ударом мессир Салимбени вырвал из власти призраков мастера Джовансимоне.

Мы перенесли оглушенного в свою мастерскую, и там лежал он до вечернего благовеста, не подавая признаков жизни. Придя затем в себя, он не знал, день ли то или ночь, произносил бессвязные речи и не переставал говорить о демонах ада и об ужасающем пурпуре трубного гласа.

Позже, когда безумие начало покидать его, он ушел в самого себя, сидел в углу мастерской и глядел в пространство и ни слова ни с кем не говорил. Но по ночам я слышал, как он в комнате своей скорбит и шепчет молитвы. А в день св. Стефана он исчез из города, и никто не знал, куда он ушел.

Случилось так, что спустя три года, по пути в Рим, я остановился в монастыре серафических братьев, где хранятся повязка от волос и пояс Пречистой Девы, а также моток пряжи ее собственного изделия. И в сопровождении настоятеля я пошел в часовню взглянуть на святые реликвии. Там увидел я монаха, стоявшего на помосте, и не сразу узнал в нем бывшего мастера моего Джовансимоне.

– Он помешался в разуме, – сказал настоятель, – но полон замыслов поистине великих. Мы называем его Мастером Страшного суда. Ибо пишет он только это, постоянно только это. И когда я говорю ему: «Мастер, сюда бы поместить благовещение, а на ту стену исцеление агнца или свадьбу в Кане Галилейской», он приходит в сильный гнев, и нужно уступать его желанию.

Солнце заходило, и розоватый свет падал сквозь окна на каменные плиты. И я увидел на стене парящую скалу Бога, и долину Иосафата, и хор спасенных душ, и многообразных демонов ада, и огненную геенну, а себя самого Мастер изобразил среди осужденных, и все это было представлено так правдиво, что трепет ужаса охватил меня.

– Мастер Джовансимоне! – окликнул я его, но он меня не узнал. Дрожащими руками, продолжая молиться, он писал фигуру одного гневного херувима с такою стремительностью, словно духи преисподней все еще гнались за ним.

Больше я ничего не могу сообщить про Мастера Страшного суда. Ибо когда я спустя несколько недель опять прибыл в эту обитель,

часовня была пуста, и монахи показали мне его могилу. Да спасет его и всех нас в день восстания из мертвых Иисус, утренняя звезда, упование наше.

Мессира Салимбени, которого я называю истинным Мастером Страшного суда, я не видел с той ночи. Возможно, он возвратился в отдаленное восточное королевство, где провел столько лет своей жизни. Но тайну его искусства я сохранил в памяти и привожу ее здесь для тех, кто силен и уверен в себе. Возьми, самонадеянный человек, настоящего на водке корментиля три доли. Возьми затем...»

Глава 21

– Дальше! Дальше! – торопил доктор Горский.

– Это все, – сказал Феликс, – на этом рукопись обрывается посередине фразы.

– Не может быть! – крикнул доктор Горский. – Это еще не конец. Главное впереди. Покажите.

– Убедитесь сами, доктор. Продолжения нет никакого. Дальше идут только географические карты, испанские провинции: *Granata et Murcia, utriusque Castelliae nova descriptio, insulas Balearides et Pytinsae*. На оборотной стороне – ничего. *Andalusia continens Sevillam et Cordubam*. Ни малейшего следа каких-либо рукописных заметок. Сообщение осталось неоконченным.

– Но состав снадобья? Откуда знал Ойген Бишоф состав снадобья? Конец сообщения должен где-то быть. Вы пропустили одну страницу, Феликс. Посмотрите еще раз.

Мы стояли, все трое склонившись над фолиантом. Феликс медленно перелистывал его от конца к началу.

– Здесь недостает листа, – сказал вдруг доктор Горский. – Здесь, между Астурией и обеими Кастильями, лист вырезан.

– Вы правы, – подтвердил Феликс. – Лист вырезан как бы тупым ножом.

Доктор Горский хлопнул себя рукой по лбу.

– Сольгруб! – крикнул он. – Это сделал Сольгруб! Вы понимаете? Он хотел помешать... не допустить, чтобы кто-нибудь после него повторил эксперимент! Он уничтожил последнюю страницу сообщения, ту, где указан был состав снадобья... Что нам теперь предпринять, Феликс?

– Да, что теперь предпринять?

Они в беспомощности смотрели друг на друга.

– Я должен вам сознаться, – сказал доктор Горский, – что у меня было намерение испытать на самом себе действие снадобья, разумеется приняв все меры предосторожности.

– У меня было то же намерение, – сказал Феликс.

– Нет, Феликс, вам бы я этого ни за что не позволил, вы профан в медицине, – но к чему спорить? Конечно! Никто из вас троих никогда не узнает, какие непостижимые силы вогнали в загадочную смерть Сольгруба, Ойгена Бишофа и бог весть сколько еще других людей.

Он захлопнул тяжелую, окованную медью крышку фолианта.

– Никого эта книга уже не введет в соблазн, – сказал он. – Сольгруб, наш бедный Сольгруб был последнею жертвою. Чем дольше я обдумывал эту историю... физиология мозга дает нам, Феликс, некоторую путеводную нить. У меня сложилась определенная теория. Нет, я не верю, что то было видение Страшного суда. Я склонен скорее предположить, что действие снадобья в каждом отдельном случае...

Я вскочил. Внезапно меня осенила мысль, всецело меня захватившая, совершенно выведшая меня из равновесия. Я был не в силах скрыть свое волнение. Взглянул на Феликса и на доктора Горского... Они не обращали на меня внимания. Я вышел из комнаты.

Скорей бы пробежать через сад, пока они не заметили моего исчезновения! Нет, тайна не утрачена, там лежит она и ждет меня. Я... один я должен узнать истину. Еще только несколько шагов...

Дверь в павильон была открыта. Все оставалось в том виде, в каком сохранилось у меня в памяти с того вечера: на письменном столе револьвер, на диване шотландский плед... Опрокинутая чернильница, сломанный бюст Иффланда... Ничего тут не сдвинули с места, и вот на столе – моя трубка.

Я взял ее в руки, пришлось удалить тонкий слой пепла, и затем курево показалось: черновато-коричневая смесь, снадобье, считавшееся утраченным, зелье сиенского врача, вырвавшее у Джовансимоне Киджи сознание в убийстве.

Когда я зажег спичку, во мне проснулся легкий страх перед неведомым, ожидавшим меня. Страх? Нет, это не был страх, это было чувство, с каким пловец бросается с берега в глубокую воду. Вода захлестнет его, но он знает, что выплывет мгновением позже. Именно так чувствовал я себя. В своих нервах я был уверен. Я ждал видений Страшного суда, ждал их равнодушно, почти даже с любопытством. В умственном всеоружии человека нашей эпохи ожидал я призрака былых времен... «Наваждение все то, что ты увидишь», – сказал я себе и затянулся из трубки в первый раз.

Не произошло ничего. Сквозь сизое облако дыма я увидел маску Бетховена на стене и сквозь открытое окно несколько зеленых веток каштана, которые раскачивались от ветра, и над ними клочок серого неба. По полу полз большой, с синеватым отливом жук незнакомого мне вида, но его я уже раньше заметил.

Вторая и третья затяжки... Странный кислородный аромат снадобья ощутил я только теперь и только на мгновение, он очень быстро улетучился. У меня возникло жуткое опасение, как бы меня не застигли здесь Феликс и доктор Горский, и я выглянул в окно. Но сад был безлюден. Они сидели в комнате, спорили и, по-видимому, совсем не замечали моего отсутствия.

Помню, что в общем я сделал пять затяжек из трубки. Потом посреди комнаты появился гибисковый куст.

Я вполне сознавал, что это галлюцинация, возникший в памяти образ, но исполненный такой непередаваемой жизненности и пластичности, что я невольно шагнул в его сторону. Я пересчитал лилово-красные цветы на кусту, их было, насколько я мог видеть, восемь, а девятый, темно-красный, распустился в тот миг, когда я взглянул на него.

Внезапно гибисковый куст исчез, и на его месте я увидел темно-зеленые листья пальмы и прислонившегося к ее стволу китайца в серебристо-серой шелковой одежде. Прежде всего мне бросилось в глаза его несуразное уродство, у него было лицо новорожденного младенца, но я не испугался, я отлично знал, что мое непомерно возбужденное снадобьем воображение создает образ, который где-то в чужих краях запечатлелся однажды в моей памяти. Но это воспоминание предстало передо мною в необъяснимом и чудовищном искажении. В этой стадии эксперимента я все еще был хладнокровным и спокойным наблюдателем весьма странного оптического явления. Стол, и диван, и контуры комнаты я видел еще и теперь, но они казались мне призрачными и ненастоящими, как смутное и сбивчивое воспоминание о чем-то, бывшем давно.

Потом этот образ был вытеснен видением кирпичной стены и открытого сарая. Оно несколько минут неподвижно стояло у меня перед глазами и пробудило во мне неопределимо безутешное чувство. Изнутри сарай был озарен отблесками кузнечного горна, и я увидел двух обнаженных до пояса мужчин с бритыми головами. Их

внешность сразу вызвала во мне смутное чувство страха, обострившегося до безумного ужаса.

Вдруг один из мужчин повернулся, вышел из сарая и направился ко мне характерной волочащейся походкой. Голову и плечи он наклонил вперед, руки у него свисали, как плети. Остановившись передо мной, он поднял своей правой рукой левую, пальцы его левой руки искали меня ощупью, я почувствовал их у себя на запястье, попятился, крикнул, услышал свой крик, смертельный страх потрясал меня... Глаза, губы... лицо изъедено... «Проказа! – завопил я, – проказа, проказа!» – и на протяжении дробной доли секунды в отчаянии старался ухватиться за какую-нибудь мысль: безумие... наваждение... сон – и больше ничего... Но мысль ускользала, я остался наедине со страшным видением, море ужаса и отчаяния захлестнуло меня...

Я не знаю, что потом произошло. Я потерял сознание и затем пришел в себя. Первое, что я увидел, было заставленное решеткой окно, высоко в стене, так высоко, что я до него не мог достать. Потом, в полумраке, меня окружавшем, я различил стол и два стула, привинченных к полу. Вдоль узкой стороны комнаты стояла тяжелая железная кровать.

Я лежал на полу. У меня было такое представление, словно я долгое время переживал страшные вещи в этой комнате, но какие – этого я вспомнить не мог. Неясно мерещилось мне широкое, очень красное лицо с круглым подбородком и маленькими каплями пота на лбу, будившее во мне сильное отвращение.

Я чувствовал жажду, знал, хотя и не видел, что рядом с кроватью прикреплена к стене металлическая кружка с водой. Я подполз к ней по полу и стал пить. Потом на меня нашло непреодолимое желание разбить вдребезги жестяную кружку, но она не поддавалась моим усилиям.

Вдруг открылась дверь, и в комнату хлынул свет. Вошли двое мужчин. Один из них был высокого роста, широк в плечах, гладко выбрит и носил роговые очки, его лицо было мне знакомо, я часто видел его. Другой был ростом невелик и худ, с седоватой бородкой и живыми глазами. Руки он засунул в карманы пиджака. Я смотрел на него, но это лицо не вызвало у меня никаких воспоминаний.

– Dementia^[11], перемежающийся тип, припадки происходят сериями, – сказал широкоплечий на чужом языке, но я тем не менее понимал каждое слово. – Четвертый год находится под наблюдением, бывший офицер Генерального штаба, кавалерист, наследственное предрасположение со стороны как отца, так и матери.

Я лежал на полу и не спускал с него глаз.

– Рефлекторная неподвижность зрачков, повышенный мышечный тонус, повышенное давление спинномозговой жидкости... Нет, нет, не закрывайте двери, коллега... Сторож... Берегитесь!

Я уже повалил его на землю, налег ему на грудь и душил его. Потом вскочил, выбежал в коридор, кто-то ринулся на меня, я вырвался и два раза хватил кулаком по какому-то широкому красному лицу с округлым подбородком, помчался дальше, слышал крики, свистки за собою и вдруг очутился на свободе.

Деревья, кусты, бесконечная равнина. Я стоял один, вокруг меня была неопишуемая тишина. Природа словно оцепенела, ничто не шевелилось, ни трава, ни листья, только маленькие белые перистые облака плыли по лазурному небу.

Внезапно я осознал, что жил в той комнате, как зверь, целые годы между столом и железной кроватью, ползая по полу, по-звериному воя, не переставая бросаться на дверь, и вот они опять пришли за мною – обступили меня, я видел их, и несказанный страх охватил меня перед человеком с широким красным лицом.

– Вот он, – услышал я его голос, и он стоял передо мною и пристально глядел на меня. Его широкий рот расплылся в усмешке, маленькие поблескивающие капли пота выступили у него на лбу, руки он прятал за спиною... Я знал, что прячет он от меня, я закричал, хотел бежать... Они бежали со всех сторон... Спасения нет...

Тут в моей руке внезапно оказался револьвер. Я не знал, откуда он у меня, но я держал его, я ощущал смертельно-холодный металл ствола.

И в тот миг, когда я приставил револьвер к виску, в этот миг невероятное море пламени залило небосвод, оно бушевало и пылало краскою, какой я не видел раньше никогда, и я знал ее название, пурпуром трубного гласа называлась она, глаза мои были ослеплены ураганом ужасной краски, пурпур трубного гласа было имя ее, и она озаряла гибель вселенной...

– Живо! Его руку! – раздался голос около меня, и я почувствовал, что рука у меня отяжелела, как свинец, но я ее высвободил и не хотел больше жить. – Так нельзя! Пустите меня! – крикнул тот же голос, и потом я услышал гром и пение, страшный свет на небе погас, надвинулся мрак, на протяжении секунды я видел как во сне давно прошедшие, давно забытые вещи, стол, диван, синие обои, белые занавески, колыхавшиеся от ветра, и потом уже я не видел больше ничего.

Глава 22

Я очнулся от обморока, как от глубокого сна. Некоторое время я лежал с закрытыми глазами и не мог собраться с мыслями, сообразить, где я был раньше и что произошло со мною. Потом я открыл глаза. Это удалось мне не без труда, меня клонило ко сну, и я должен был преодолеть неприятное чувство вялости.

Наконец я пришел в себя. Я лежал на диване в гостиной виллы Бишоф. Доктор Горский сидел рядом со мною и щупал мой пульс, за его спиной стоял Феликс. Свет настольной лампы падал из-под абажура на листы раскрытого фолианта, лежавшего на столе.

– Как вы себя чувствуете? – спросил доктор Горский. – Мигрень? Головокружение? Тошнота? Шум в ушах? Глазам от света больно?

Я покачал головой.

– Завидное у вас здоровье, барон. Всякий другой... Сердце у вас в полном порядке. Я думаю, вы даже сможете один пойти домой.

– Вы были необыкновенно легкомысленны, барон, – сказал Феликс. – Как могли вы... Разве вы не знали, что вас ждет? Счастье еще, что Дина была в саду и услышала ваш крик.

– Да, и приди мы секундою позже... Вы уже приставили револьвер к виску, – сказал доктор Горский. – Не могу скрыть от вас: вы обошлись со мною довольно круто. Я отлетел к стене, как мяч. И если бы Феликса не осенила счастливая мысль...

– Это не моя была мысль, вам это хорошо известно, – перебил его Феликс.

– Принудительное лечение доктора Салимбени, вот именно. Удар кулаком в лоб – и вы сразу отказались от своих самоубийственных намерений. Очевидно, вы были под сильным импульсом страха. Сознаете ли вы, барон, как были близки к другому берегу?

Теперь только я вспомнил все, что было. Я вскочил, попытался рассказать о прокаженном, о доме сумасшедших, о страшной окраске небосвода...

– Молчите! Молчите об этом! – остановил меня доктор Горский. – Как-нибудь позже, когда успокоитесь, вы мне все это расскажете. Проказа, дом сумасшедших – нечто в этом роде я и представлял себе.

Случай ясен, и ваш опыт только подтверждает то, что я и без того предполагал. Когда вы очнулись от обморока, я как раз начал излагать Феликсу мои взгляды. Если это вас не утомляет, то слушайте. Вам уяснится многое.

Он придвинул к себе настольную лампу. Потом он с минуту молча сидел в своем кресле.

– Нет, я не думаю, что это средство изобретено сиенским врачом, – заговорил он. – Оно весьма древнего происхождения и, несомненно, изобретено на Востоке. Страх и экстаз! Интересовались вы когда-нибудь историей секты ассасинов? Быть может, у вас в руках было сегодня средство или одно из средств, с помощью которых старец Горы властвовал над душами людскими.

– А теперь это средство навеки утрачено? – спросил Феликс.

– С научной точки зрения об этом следует, быть может, пожалеть, – заметил доктор Горский. – Но я доволен, что это случилось. Сольгруб знал, что делал, уничтожая последний лист. Пары, которые вы вдохнули, барон, обладали способностью возбуждающе действовать на все мозговые центры, в которых локализовано воображение. Они его повысили в бесконечной степени. Мысли, проносившиеся у вас в мозгу, сразу же претворялись в образы и возникали у вас перед глазами, словно они действительность. Понимаете ли вы теперь, отчего эксперимент доктора Салимбени обнаруживал свою притягательную силу главным образом на актерах, скульпторах и живописцах? Все они ждали от опьянения яркости образов, новых импульсов для своего художественного творчества. Они видели только приманку и не подозревали об опасности, которой шли навстречу.

Он встал и в неожиданном приступе ярости ударил кулаком по страницам фолианта.

– Адская западня! Понимаете? Центры фантазии суть в то же время центры страха. Вот в чем суть! Страх и фантазия неразрывно связаны между собою. Великие фантасты были всегда людьми, одержимыми страхом. вспомните о Гофмане, Микеланджело, Адском Брейгеле, Эдгаре По...

– Это не был страх, – сказал я и задрожал от воспоминания. – Страх я знаю, испытывал его не раз. Страх – это нечто преодолимое.

Это был не страх, не ужас, а нечто в тысячу раз большее – чувство, для которого не существует слов.

– Вы знаете страх? – спросил доктор Горский. – Вам угодно утверждать, что вы знаете страх, барон? Быть может, с сегодняшнего дня. Но то, что вы раньше переживали в виде страха, было только слабым отблеском чувства, погасшего в вас несколько тысячелетий тому назад. Подлинный страх, настоящий страх, тот страх, который находил на первобытного человека, когда он из света своего очага переходил в полный мрак, когда из туч сыпались неистовые молнии, когда над болотами поднимался рев ихтиозавра, первобытный страх одинокой твари, – никому он не известен из живых людей, никто из нас не был бы в силах перенести его. Но клеточка, способная породить его в нас, не умерла, она живет, давным-давно усыпленная, не шевелится, не дает себя чувствовать – мы носим спящего убийцу в своем мозгу.

– А ужасающий свет? Невообразимая краска?

– Быть может, и для этого весьма своеобразного явления можно найти физиологическое объяснение. Ему я должен был бы, впрочем, предпослать несколько слов о строении человеческого глаза: носителем светочувствования является сетчатка, правильнее говоря – система нервных волокон, кончающихся в сетчатке и возбуждаемых основными цветами, то есть лучами совершенно определенной длины волны... Почему бы не допустить, что ядовитые пары, которые вы вдохнули, произвели такое временное изменение в вашей сетчатке, что она стала реагировать и на другие лучи, большей или меньшей длины волны? Быть может, загадочным пурпуром трубного гласа был тот незримый для нас, лежащий вне солнечного спектра цвет, который физики называют инфракрасными лучами.

– Что вы сказали? – воскликнул Феликс. – Вы говорите о темных тепловых лучах и утверждаете, что он их видел, воспринял глазом как цвет?

– Это возможно, – сказал доктор Горский. – Разные могут быть гипотезы на этот счет, но есть ли смысл их строить, если мы никогда не сможем их проверить?

Он встал и открыл окно. В комнату донесся запах сырой земли и опавших листьев. Маленькие бабочки вынырнули из тьмы и стали порхать вокруг света лампы.

– И вы думаете, – спросил я, – что тогда, в тот вечер, пока вы сидели здесь, в комнате, у Ойгена Бишофа были в павильоне те же галлюцинации?

Доктор Горский повернулся и отошел от окна.

– Нет, не те же, – сказал он. – Страшные картины, явившиеся вам, порождены вашим подсознанием. Проказа. Вы были несколько раз на Востоке, путешествовали по Восточной Азии. Не возникало ли у вас когда-нибудь легкого опасения заразиться этой ужасной болезнью Востока? Вспомните-ка, барон!.. Ойген Бишоф, тот много лет боялся одного: как бы не потерять Дины, не потерять ее из-за вас. И в тот роковой час жестокая галлюцинация показала ему Дину в ваших объятиях. Что случилось тогда? Выстрел, первый выстрел, угодивший в вас, барон. Потом его, очевидно, охватил ужас перед совершившимся, и он обратил оружие против себя самого. Когда вы вошли в комнату – помните, какое выражение появилось у него на лице? Он увидел вас живого. Он пустил вам пулю в сердце, а вы стояли перед ним. С чувством беспредельного изумления перешел Ойген Бишоф в мир иной.

– А Сольгруб? – спросил Феликс.

– Сольгруб? Он был офицером русской армии, участвовал в Маньчжурском походе. Что знаем мы друг про друга? Каждый из нас в самом себе носит свой Страшный суд. Быть может – как знать? – в его последние минуты против него восстали убитые в тех боях.

Он подошел к столу и стер пыль с переплета старой книги.

– Вот оно лежит, чудовище, – сказал он. – Больше оно не будет сеять зла. Миновало его время. Через сколько рук прошло оно на своем пути сквозь века! Вы хотите оставить его у себя, Феликс? Если не хотите, то у меня дома немало полуистлевшего ученого хлама, мне приятен запах выцветшего пергамента... Исписанные страницы принадлежат вам, барон. Приобщите их к документам вашей жизни. Сохраните их как воспоминание о том часе, когда вы предстали передо мной в таком виде, в каком не приведи меня бог видеть никого.

Когда я вышел из виллы, Дина стояла у садовой калитки. Мне нужно было пройти мимо нее, другого пути не было. Глубокая, жгучая боль поднялась во мне, я подумал о том, что было и чего быть уже не могло. Тени стояли между нами. На мгновение рука ее задержалась в

моей, и затем она скрылась в темноте. Я поклонился. Мы молча расстались.

Послесловие издателя

Барон Готфрид Адальберт фон Пош Клеттенфельд в начале мировой войны отправился добровольцем на фронт и спустя несколько месяцев пал в битве при Лиманове. В кармане седла его лошади оказалась рукопись, в которой он на свой лад излагает события осени 1909 года.

В долгие декабрьские вечера 1914 года этот роман – иначе, право же, трудно назвать литературное наследие барона фон Поша – ходил по рукам среди офицеров шестого драгунского полка. Я получил его, без всяких комментариев, в конце того же месяца от своего эскадронного командира. Причины, заставившие барона фон Поша за пять лет до возникновения войны оставить военную службу, были большинству из нас известны. Самоубийство артиста придворных театров Бишофа произвело в свое время много шума даже за пределами столицы, и я хорошо помнил, какую роль сыграл в этом деле барон фон Пош.

Я ожидал поэтому, когда начал просматривать рукопись, попытки реабилитироваться. Первая часть рассказа с чисто внешней стороны действительно передает события в том виде, в каком они происходили. Тем сильнее было мое удивление, когда мне пришлось убедиться, что, начиная с определенного места, этот рассказ теряет с действительностью всякую связь. В этом месте (оно находится в девятой главе книги и странным образом гласит: «Во мне и вокруг меня все стало иным, я снова принадлежал действительности») изложение круто сворачивает в область фантастики. Нужно ли еще объяснять читателю, что барон фон Пош в самом деле подтолкнул на самоубийство актера Бишофа, что, будучи привлечен к ответственности родственниками покойного и прижат к стене, он злоупотребил честным словом? Таковы факты. Все прочее: вмешательство инженера, погоня за «чудовищем», таинственное снадобье, галлюцинации – все это фантастический вымысел. В действительности дело это кончилось в суде чести осуждением барона фон Поша.

Какую цель преследовал барон фон Пош своим рассказом? Не надеялся ли добиться пересмотра дела в суде чести? Это представляется мне маловероятным. Не все его духовные качества были развиты равномерно, но в умении отличать достижимое от невозможного отказать ему никак нельзя. Однако если его заметки не предназначались для печати, к чему был весь этот большой труд, занявший, быть может, несколько лет его жизни?

Сведущие криминалисты знают ответ на такой вопрос. Они ссылаются на «игру с уликами», на наблюдаемое у многих осужденных стремление мучить себя насильственным переименованием улик, послуживших к осуждению, неустанно доказывать самим себе, что они могли бы быть невиновны, если бы против них не была судьба.

Возмущение против совершившегося и непреложного! Но не было ли это искони, если взглянуть на вещи с более высокой точки зрения, происхождением всякого искусства? Разве не из пережитого позора, унижения, попранной гордости – разве не *ex profundis*^[12] возникало каждое вечное творение?

В великих симфониях звуков, красок и мыслей я вижу отблески пурпура трубного гласа, смутно прозреваю в них великую галлюцинацию, на короткий миг вознесшую Мастера над хаосом его вины и мук.

notes

Примечания

1

У. Шекспир. «Ричард III», пер. А. Радловой, акт I, сц. 1, строки 18–19. (*Здесь и далее примеч. пер.*)

2

Здесь: многовато дыма (*лат.*).

«Голубой вальс», «Воспоминание о Москве» (*фр.*).

4

Пустяки! *(англ.)*

День гнева (*лат.*), т. е. день Страшного суда.

6

Имеются в виду персонажи мифа о Зигфриде. Миме задавал Вотану вопросы, чтобы «странник» обнаружил перед ним свою мудрость и тот смог убедиться в том, кто перед ним.

Увы, о Постум, Постум... (*лат.*). Из сонетов Горация.

«Театр земель» (*лат.*).

Кинжал мизерикордия – т. е. кинжал милосердия; оружие, предназначавшееся для добивания раненого человека или животного.

Долина Иосафата – по библейскому преданию, место погребения царя Иосафата. В древности служила кладбищем бедняков. В Книге пророка Иоилия о ней упоминается следующим образом: «Я (Иегова) соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд...» На основании этих строк иудеи, магометане и некоторые христиане полагают, что долина Иосафата станет местом Страшного суда.

Горячка, безумие (*лат.*).

12

Из глубин (*лат. прав. de profundis*) – начало покаянного псалма, который читается как отходная молитва над умирающим: *De profundis clamavi ad te, Domine; Domine, exaudi vocem meam!* (Из глубин воззвал я к Тебе, Господи; Господи, услышь голос мой!)